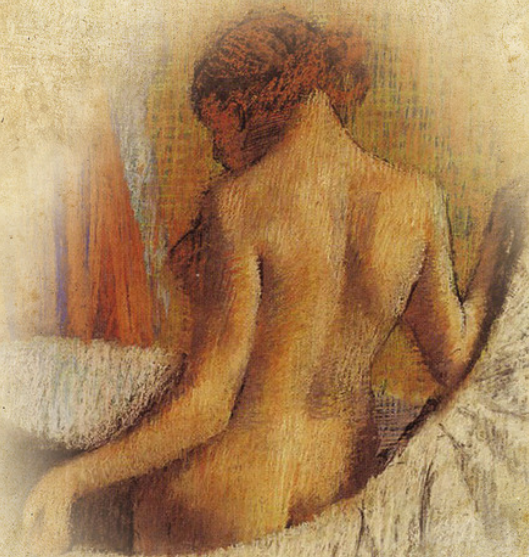


ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА



Елена Арсеньева

Звезда моя единственная

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2874455

Арсеньева Е. Звезда моя единственная: роман : Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-50381-0

Аннотация

Дочь императора Николая Первого, Мэри, была очень хороша собой. Раз увидев ее в окне, Григорий пропал на всю жизнь.

Незаконнорожденный сын помещика и крепостной крестьянки, они мечтать не смел, что царская дочь обратит на него внимание.

Но, видно, они были созданы друг для друга. Мэри не только обратила на высокого, статного красавца внимание, но и захотела, чтобы он стал ее первым мужчиной.

Больше Григорий никогда не видел свою Машу. Но память о единойжды испытанном счастье всю жизнь жила в его сердце.

Содержание

Пролог	4
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Елена Арсеньева

Звезда моя единственная

Коль любить, так без рассудка...
А. Толстой

Пролог

В один из сентябрьских дней 1854 года, ближе к закату, когда небо над Невой уже заливалось тускловатым красно-золотистым светом, волшебным преобразившим плоские перистые облака, шедшие с моря и предвещавшие на завтра дождь и ветер, небольшая карета остановилась около двухэтажного дома в самом конце Гороховой улицы Санкт-Петербурга. Ближе к Неве она была оживленной, многолюдной настолько, что остроловами газетчиками звалась «Невский проспект для простого люда», а здесь, близ Загородного проспекта и неподалеку от Семеновского плаца, стала тихой, почти деревенской, словно окраинная.

Кучер слез с козел и подошел к воротам. На них была, как и предписывалось властями, небольшая табличка с адресом: «Московская часть, улица Гороховая, номер 50, собственный купца 2-й гильдии Касьянова дом».

Прочитав сие, кучер повернулся к карете и удовлетворен-

но кивнул, а потом кинулся было отворить дверцу, однако был остановлен негромким окликом и замер, не доходя и являя собой картину почтительного ожидания.

Похоже было, что человек, сидящий в карете, внимательно разглядывает дом. Ну, это был самый обычный купеческий дом – на каменном фундаменте и с деревянными этажами, добротный, однако ничем не выделяющийся из ряда своих соседей. Здесь жили по большей части купцы средней руки, щеголявшие друг перед другом не столько роскошеством, сколько добротностью и основательностью построек и величиной садов и огородов. Из-за заборов доносился собачий перебрех и даже мычание коров.

Кучер, услышав это, презрительно скривился, подумав: «Куда заехали?! Ну прямо какая-то Охта!» (охтинские бабы по всему городу торговали молоком от своих коров, держа на дворах немалое число голов) – однако, само собой, ни словом не обмолвился, а продолжал терпеливо ждать, поглядывая то на карету – не пропустить бы знака! – то на забор, над которым поднимались вершины яблонь и груш, уже тронутых осенью и не только пожелтевших, но и изрядно поредевших. Порой налетал ветер и грубо трепал вершины, срывая с них листья и расшвыривая вдоль улицы.

Отчего-то эти мечущиеся по мостовой листья наводили на печальные размышления о бренности и тленности всего сущего. Да еще окна, чем-то темным завешанные изнутри, усиливали впечатление тоски – беспросветной тоски, от ко-

торой даже ясное, золотисто-голубое небо казалось серым и пасмурным.

Кучер вздохнул, но тотчас же его истовое ожидание было вознаграждено. Послышался негромкий оклик.

Он проворно бросился к дверце кареты, распахнул ее и помог выйти даме в сером плаще с капюшоном. Лица ее не было видно, плащ скрывал также и фигуру, однако можно было видеть, что росту дама невысокого, обладает приятной полнотой и движется с плавной величавостью. Подол темно-синего платья шелестел тем упоительным, важным шелестом, какой свойствен только самым дорогим шелкам.

Лишь только дама ступила на землю, вернее, на чистую деревянную мостовую, недавно подновленную (петербургским домохозяевам предписано было заботиться о том, чтобы проезжие дороги и тротуары близ их строений были должным образом замощены либо досками, либо камнем), в заборе распахнулась калитка, и дама поняла, что в то время, пока она разглядывала дом, его обитатели разглядывали ее. Она усмехнулась, вскинула голову и постаралась принять еще более величественный вид. Ее голубые глаза смотрели холодно, губы были надменно сжаты. Она знала, что лицо ее сейчас бледно: обычно ее щеки украшал нежный румянец, но она всегда бледнела, когда сердилась. А сейчас она была сердита и даже зла. Кому понравится, если тебя вынуждают делать то, чего ты не хочешь, что противно всему твоему существу? А ее вынудили. Разумеется, хорошего настроения

это ей не прибавило.

– Подожди меня здесь, Михаил, – сказала она кучеру, который, кажется, изготовился исполнять при ней обязанности телохранителя и направился следом.

Он всплеснул руками:

– А как же... а не дай Бог, ваше...

И осекся, остановленный ее предупреждающим жестом.

– Ничего со мной не случится, – сказала дама со спокойствием, которого не чувствовала. – Ну сам посуди, кто посмеет на меня руку поднять?

– Так-то оно так, – проворчал кучер. – Ну, коли велите...

– Велю, – усмехнулась дама. – Вернись к карете.

Кучер потянулся было к ее руке, но дама качнула головой, и он побрел обратно, недоумевая, отчего госпожа осердилась на него.

Он был тут ни при чем. Дама просто боялась... боялась, что женщина, написавшая ей письмо и вызвавшая сюда, потеряет терпение, выскочит на улицу и затеет сцену. Конечно, Михаил, поверенный многих тайн, ничего нового о своей госпоже не узнает, да и не его она опасалась. Разве мало о ней болтают в свете и даже в городе, чтобы пошли слухи еще и о скандале на Гороховой? Отец... трудно представить, что сделает отец. А муж?! Ему и так многое приходится терпеть, многое подавлять в себе – гордость свою прежде всего! – ради любви к ней. Нет, надо постараться выбраться из этой истории без шума. У нее с собой довольно денег. Она

готова заплатить за...

Она не знала, за что. Вдруг показалось, что нечего так уж пугаться. Письмо было написано незнакомым почерком, однако имя, упомянутое в нем, имя почти забытое, но все же воскресшее в памяти и воскресившее чудные воспоминания, внушало уверенность в том, что ее не ждет ничего дурного. Но почему, почему он не написал сам? Почему поручил сделать это какой-то женщине?

Заболеел? Или, не дай Бог... да ну, чепуха, он еще довольно молод, ненамного старше ее, а ей всего лишь тридцать четыре, и дураки те, кто считает, что это много – даже для женщины, тем паче для мужчины. Конечно, он жив, и он не мог предать ту, которую раньше так любил... правда, прошло очень много лет с тех пор, как они виделись, но ей что-то подсказывало, что он не мог изменить той прежней любви и превратиться из верного, преданного, обожающего друга во врага. Он был ее спасителем, он не мог причинить ей зло! Скорей всего, их стародавней тайной, о которой и сама она почти забыла, обманно завладела какая-то женщина. И теперь радуется возможности заработать на шантаже.

Ну что ж, посмотрим! Как бы ей не разочароваться!

Дама твердо шагнула к калитке. Она все еще надеялась, что там окажется он сам и это недоразумение каким-нибудь образом рассеется, однако ее и в самом деле ждала женщина, одетая в черное.

Дама взглянула в ее лицо с той ревливой внимательно-

стью, с какой с некоторых пор вглядывалась в лица всех женщин. Прикидывала, моложе ли они, чем она, а если видела ровесницу, то оценивала, как она выглядит: на свои года, старше, моложе, лучше, чем она сама, или хуже...

Незнакомка была совсем молоденькой девушкой, лет пятнадцати, не более того. Лицо утомленное, веки красные, бледные губы сложены скорбно. Не только одежда ее, но и весь вид был траурным. В лице ее показалось Марии Николаевне что-то знакомое, только она не могла понять что.

«Небось вдовееет», – подумала дама и скрыла усмешку, потому что и сама недавно была вдовой, однако не печалилась ни минуты и вышла из сего состояния так скоро, как только могла.

Дама обратила внимание, что черное платье девушки сшито из дорогого бархата, но очень просто. И на ней не было никаких драгоценностей.

«Она не очень похожа на купчиху», – мелькнула мысль, а вслух она произнесла по-русски, в последнюю минуту спохватившись и не заговорив по-французски, как беседовала даже с кучером: – Это вы мне писали?

– Да, – почти беззвучно ответила девушка, чуть склонившись в поклоне. – Окажите милость пройти.

– Что вам угодно? – спросила дама, не сделав больше ни шагу к калитке, всем своим видом являя надменность и высокомерное презрение к могущему быть шантажу.

– Извольте же войти, – настойчиво сказала девушка. – Я

должна кое-что вам передать.

Дама пожала плечами и вошла, напоследок оглянувшись на кучера. Тот являл своим видом полную готовность немедленно броситься в огонь и воду за свою госпожу, и это несколько успокоило ее.

– Не извольте беспокоиться, – сказала хозяйка. – Здесь вам нечего бояться.

Дама бросила на нее быстрый взгляд. Незнакомка держала себя с ней как с ровней, никаких признаков подобострастия и даже преувеличенной почтительности. А между тем, судя по письму, она прекрасно знала, какое положение занимает ее гостя. И как тут быть с этикетом?!

Внезапно вспомнилось давнее-предавнее... Однажды на балу – она тогда еще только вышла замуж за Макса – произошел смешной случай, касающийся как раз этикета. Отец разговаривал с новым австрийским посланником. Ей захотелось с ним потанцевать. Она отправила своего камергера Иосифа Россетти. Он подошел к беседовавшим и с поклоном сказал:

– Госпожа герцогиня Лейхтенбергская просит вас, господин посланник, оказать ей честь танцевать с ней полонез.

Отец вообще был очень чувствителен к публичным нарушениям этикета. Кроме того, он все еще не привык к новому положению дочери. Он сказал холодно:

– Дурак! Знайте, что я не желаю, чтобы вы говорили «госпожа герцогиня Лейхтенбергская». Надо говорить «ее высочество великая княгиня Мария Николаевна», а когда вели-

кая княгиня приглашает кого-нибудь танцевать, это любезность, которую она оказывает, а не честь, которую просит ей оказать!

И вслед за этим отец устал на беднягу Россетти свой знаменитый «выпуклый взгляд», называемый также «взглядом василиска». От этого взгляда молоденькие фрейлины, случалось, падали в обмороки разной степени глубины. Даже матушка и братья с сестрами поспешно опускали глаза, когда отец гневался. Она, она одна могла этот взгляд выдерживать сколь угодно долго, она, его любимая дочь!

Ох, знал бы отец, где она сейчас, его любимая дочь, великая княгиня Мария Николаевна, вдовствующая герцогиня Лейхтенбергская, тайная жена графа Стро... Впрочем, нет, тише, о ее браке отец тоже не осведомлен!

Мария Николаевна очнулась от своих мыслей, обнаружив, что ее уже проводили в дом. Из сеней вела лестница во второй этаж, однако хозяйка отворила двери в покои первого этажа.

Вошли в полутемную комнату: окна были завешаны темными шторами, только лампадка теплилась под образами, слабо мерцал огонек. Мария Николаевна быстрым взором окинула убранство, но разглядеть что-то было невозможно. Громоздились кругом глыбы массивной мебели. Сильно пахло свечами, ладаном и вроде бы сухими цветами, как после Троицы, пока еще увядшая зелень не вынесена вон из комнаты.

Отчего-то именно этот запах увядания невероятно раздражил вдруг Марию Николаевну. Ее терпение мигом кончилось, и она проговорила неприязненно:

– Не довольно ли интриг? Я приехала сюда, поддавшись на ваши намеки, а теперь сожалею о своем поступке. Что вы знаете обо мне и что из этих сведений намеревались использовать мне во вред?

Девушка, черты которой сейчас таяли в полумраке, всплеснула руками:

– Во вред вам?! Отчего вы так думаете?

Мария Николаевна только фыркнула. Она прекрасно помнила содержание письма, которое заставило ее сюда приехать. Письмо пришло обычной городской почтой на адрес графа Строганова, однако имело приписку: «Марии Николаевне в собственные руки». Титул ее не был указан, но не стоило труда сообразить, кто имеется в виду. Еще хорошо, что почт-директор не вскрыл его, как имел обычай вскрывать переписку всех более или менее значимых лиц в государстве. Видимо, граф Строганов был отнесен к лицам скорее менее значимым. Ну что ж, не более десяти человек во всей Российской империи осведомлены о том, что великая княгиня Мария Николаевна и этот «малозначимый» Григорий Строганов несколько дней тому назад обвенчались тайно, и почт-директор, по счастью, в число этих приватно осведомленных персон не входил. Не то о письме было бы тотчас доложено отцу... последствия сей верноподданнической акции

трудно даже представить! Наверняка и он уловил бы непочтительность, развязность, бесцеремонность и даже угрозу в этих строках:

«Ваше высочество, некий человек, которого Вы изволили знать в былые годы, просил передать Вам одну вещь, которая, как он надеялся, освежит в Вашей памяти самые живые минуты этих встреч. Поскольку я не рассчитываю на Вашу памятьливость, сообщаю его имя: Григорий Васильевич Дорохов. Впрочем, Вы его знали как Гриню. Он мечтал сам повидать Вас, однако мечтам сим не суждено было осуществиться. У него, на память о Вашем знакомстве, сохранилась некая вещь, принадлежавшая Вам. Крепко надеюсь, что эта просьба будет исполнена и Вы явитесь за этой вещью лично. Мне было бы не затруднительно отнести ее самой к Вашему высочеству, однако не хотелось бы обращать на себя внимание досужих лиц. Однако, конечно, если Вы оставите письмо сие без внимания, мне придется искать свидания с Вами либо на людных улицах, либо пытаться обратиться к Вашему батюшке, как обращаются к Нему многие со своими затруднениями. Не думаю, что встреча на глазах посторонней публики, тем паче вмешательство императора были бы Вам желательны, а оттого жду Вас на Гороховой улице, в Московской части, в доме купца Касьянова на Воздвижение в любой час ближе к закату.

Остаюсь Ваша верная и преданная слуга».

Слог и почерк выдавали недурное образование автора письма. Оно не было подписано никаким именем, но вполне можно было догадаться, что писала женщина. Конечно, эта самая.

– Отчего так думаю? – повторила Мария Николаевна. – Да оттого, что вы в письме своем мне недвусмысленно угрожаете. Ведь это вы его послали?

– Да, я, – спокойно согласилась девушка. – Послала я, но писала не я. Писала моя матушка, да и то не теперь, а девять лет назад. Посылая его, я исполнила ее последнюю просьбу.

«Значит, она не мужа похоронила, а мать, – сообразила Мария Николаевна. – И что эта мать хотела мне сообщить еще девять лет назад?! То-то листок показался мне таким пожелтевшим, обветшалым... Но какое отношение это имеет к... к нему?!»

– И что за вещь хотели вы мне передать? – спросила она холодно.

– Извольте взглянуть, – пригласила хозяйка и подошла к большому комоду в дальнем конце комнаты. Комод был крыт кружевной скатертью, на нем что-то стояло – вроде бы какой-то стеклянный колпак.

– Я почти ничего не вижу! – сердито воскликнула Мария Николаевна. – Нельзя ли подать свечей или хотя бы открыть окно?

– Сейчас принесу свечей, – кивнула девушка и поспешно

вышла в дверь, противоположную той, в какую они входили.

«Отчего она не приотворит окна? – недовольно подумала Мария Николаевна. – Здесь темно, как в могиле! Ах да, у нее траур... Ну и что? Я тоже носила траур, правда, не по матери, слава Богу, матушка жива, а по мужу... но мне и в голову не приходило сидеть в темноте!»

Ну да, с тайной усмешкой вспомнила Мария Николаевна: когда Максимилиан умер, ей, напротив, показалось, что в конце некоего темного коридора, по которому она шла несколько лет, вспыхнул свет!

Девушка вернулась с трехсвечным шандалом и подошла к комоду. Мария Николаевна и впрямь увидела округлый стеклянный колпак. Под такими колпаками чувствительные невесты хранят свои флердоранжевые веночки, в которых они стояли пред святым престолом, когда венчались. У нее тоже был такой... в свое время. Пока они с Максом жили в Зимнем – сразу после свадьбы, – веночек лежал в их спальне под совершенно таким же колпаком. После, когда переехали в Мариинский дворец, выстроенный для Марии Николаевны отцом, веночек был забыт, а потом и потерялся... как были забыты и потеряли смысл все те клятвы, которые она некогда давала Максу, венчаясь с ним.

Однако под этим колпаком лежал вовсе не беленький флердоранж. Это было что-то тускло-зеленое... увядшая трава, что ли? Венок из увядшей травы? А посреди какая-то тоненькая свечка.

– Ничего не понимаю, – раздраженно проговорила Мария Николаевна. – Это та вещь, о которой вы говорили? Но что это? Какая-то трава? Почему здесь свеча? И где вообще Гри... где господин Дорохов? Отчего мне писали вы, а не он? Кто вы?

– Григорий Васильевич умер, – тихо сказала девушка. – Я исполнила его предсмертную просьбу и предсмертную просьбу его жены... я их дочь.

– Гриня умер? – прошептала Мария Николаевна. – Нет, не может быть...

Мэри спряталась за портьерой и подождала, пока лакей пройдет. Вообще-то она была уверена, что ни на кого не наткнется здесь, в этом уединенном закутке первого этажа, где устроил себе кабинет папá. Собственно, он расположился именно здесь, потому что в этой части Зимнего можно было рассчитывать на тишину. Дети редко здесь появлялись, им запрещалось бегать по дворцу без дела. У них были свои комнаты, но если бы только кто-нибудь знал, как надоело сидеть Мэри рядом с плаксивой Олли! Плаксивой и такой прилежной! Ну как ей только удастся готовить все уроки в срок и правильно? И мисс англичанка ею довольна, и мадам Баранова, воспитательница великих княжон, да вообще все! А на Мэри вечно ворчат. Сесиль Фредерикс, фрейлина и подруга мамá, знай твердит: «Мэри, что могло бы из вас получиться, если бы вы только хотели!»

Но она совсем не хочет, чтобы из нее получилось подобие

Олли. Хорошие отметки? Хорошие отметки – это все чепуха. Например, Он – ну да, был один человек, которого Мэри с тайным вздохом называла Он, – тоже учился в своей школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров так плохо, что даже не смог выйти из школы по первому разряду и не был зачислен в Кавалергардский полк, а вынужден был в 1833 году поступить корнетом в Гатчинский кирасирский полк. И лишь потом его зачислили в кавалергарды. Но это не помешало ему стать самым обворожительным кавалером при дворе. Вот и мамá к нему благоволит, так же, как к его другу Александру Трубецкому. Вот кого хорошими и послушными не назовешь, несмотря на то, что они соблюдают все приличия и очень светские люди – иначе их не держали бы рядом с императрицей. Но Мэри чувствует, что в глубине души они совсем другие. Они, конечно, понимают, что только хорошим быть скучно.

«Скучно, но полезно, – словно шепнул Мэри кто-то на ухо. – Например, хорошая Олли ездила в оперу, а дурная Мэри оставалась дома... Одна!»

Недавно в Петербург приехала певица Генриетта Зонтаг. Она была очаровательна! Как-то ее пригласили к мамá. Она пела по-немецки и аккомпанировала себе. Девочки слушали тоже и теперь хотели только одного: увидеть и услышать прекрасную Зонтаг в оперном спектакле.

Им пообещали посещение театра в одно из воскресений, если в течение недели все их отметки будут хороши. Насту-

пила суббота, отметки Олли были хорошими, а у Мэри ужасными. Александра Федоровна решила, что ни одна, ни другая в театр не пойдут, чтоб не срамить Мэри, старшую. Олли при мамá смолчала, но в глубине души была возмущена.

– Меня можно было, по крайней мере, спросить, согласна ли я принести эту жертву! – заявила она Мэри.

– Неужели ты думаешь, я пошла бы в театр, если бы ты была наказана? – взволнованно воскликнула Мэри.

Олли пожала плечами и отвела глаза. И она, и Мэри прекрасно знали, что пошла бы, и еще как, но признавать это было как-то неловко.

В следующую субботу произошла та же история! И вдруг неожиданно папá вошел в комнату и сказал:

– Олли, ты едешь в театр. Сегодня дают «Отелло». А Мэри остается дома.

И, не обратив внимания на возмущенный вопль старшей дочери, он вышел с Олли из классной. Но на пороге обернулся и сказал:

– Ты, конечно, думаешь, что я стал тебя меньше любить? Напрасно. Это делается для твоей же пользы. Когда ты поймешь это, приди ко мне и скажи.

Мэри дулась целую неделю. На самом деле она сразу поверила отцу, тем более что вложила в его слова тот смысл, который хотела: он по-прежнему больше всех на свете любит ее, старшую дочь, так похожую на него и чертами лица, и голубыми глазами, и характером, но просто пожалел Олли, у

которой только и есть что прилежание и старание. Ну да, Мэри все сразу поняла, но просто решила выдержать характер. И вот наконец решилась прийти к отцу и сказать об этом.

Ей не хотелось, чтобы ее кто-то видел. Непременно прицепятся с глупыми поучениями. Ах, как несносно быть девчонкой! Всякий лакей считает своим долгом ее от чего-нибудь остеречь, хоть она и великая княжна. Так о ней заботятся. А зачем ей эта забота? Она только и мечтает поскорей подрасти и выскользнуть из-под опеки взрослых. Скоро-скоро, через полгода, ей исполнится четырнадцать, она будет называться барышней, перестанет делить детскую комнату с Олли и их младшей сестрой Адини, получит собственные апартаменты, начнет появляться не только на детских балах – и, может быть, тогда Он...

Он и сейчас смотрит на нее совершенно особенно, не так, как на других. Когда Он дежурит в покоях мамá, Мэри оттуда просто не выходит. Стараются пройти перед ним, взглянуть в его необыкновенные голубые глаза... Они совсем другого цвета, чем ее. Темные, как вечернее небо... У него чудесные белокурые волосы. Так хочется потрогать их... Мэри готова на все, чтобы видеть его почаще. И, кажется, она нравится ему. Он не сводит с нее глаз. Конечно, вокруг так много красивых женщин... нет, Он все же равнодушен к Мэри. Если уж Он устоял перед Зонтаг... Мэри случайно слышала, как Трубецкой, еще один кавалергард, адъютант мамá, восхищался ею. А Он только усмехнулся:

– Вся красота ее – в ее голосе. А когда она молчит, ее просто не видно. О, мне нравятся женщины, которых замечаешь сразу, как они входят в комнаты! Мне нравятся женщины, от которых с первого мгновения невозможно отвести взгляд!

Он не отводит взгляда от Мэри, лишь только она войдет в комнату... Правда, она не женщина. Не настоящая женщина... Настоящие – это те, кто замужем. Настоящие спят в одной постели со своими мужьями, и те ночью делают с ними что-то такое, от чего рождаются дети. Они лежат рядом совсем раздетые и... И что?

Как хочется знать! Но у кого можно спросить? Никто ведь не скажет. Это неприлично! Великая княжна, царица, принцесса не должна задавать такие вопросы! Только это и услышишь в ответ. Ах, ну скорей бы стать взрослой и все узнать! И не отводить стыдливо глаза, когда нечаянно взглянешь на лосины, которые туго обтягивают бедра мужчин. Между прочим, чтобы лосины сидели в обтяжку, мужчины надевают их мокрыми, даже в мороз. Они стараются покрепче обтянуть то, что там, под лосинами. Что это? Для чего оно? Почему оно у одних больше, а у других меньше? Почему это есть у мужчин, а у женщин нет?

А, что толку стоять за портьерой и думать об этом? Настанет время – и она все узнает. А пока нужно зайти к папá.

Мэри выглянула, осмотрелась, выбралась из своего укрытия и стукнула в дверь.

Тишина. Никто не отвечал.

Наверное, отец не слышит.

Мэри потянула дверь, и та отворилась.

Папá никогда не запирает дверей – ну кому придет в голову без спроса войти в кабинет императора, кроме слуг, которые там убирают и лучше согласятся умереть сразу, чем сунуть нос в какую-нибудь бумагу?!

Кабинет был пуст. Наверное, папá уехал.

«Ну и что? – подумала Мэри. – Ничего страшного. Я напишу ему записку. Он придет – и сразу прочтет, что я все понимаю и совсем не сержусь на него за это наказание».

Она прошла к столу.

У папá был еще один кабинет: большой, парадный, уставленный книжными шкафами, с красивым, массивным столом – словом, именно такой, какой должен быть у императора, – но там он бывал куда реже, чем в этой небольшой, узкой, как пенал, «рабочей комнате», как он ее называл, выходявшей единственным окном на набережную Невы.

Иногда поздние прохожие могли видеть свет в этом окне. И они знали: это не спит император, император работает для них, для их блага...

Как здесь все просто! Какой порядок на письменном столе! Точно такой же порядок на столе Олли...

Мэри ревниво прикусила губу – а может быть, младшая сестра все же больше похожа на папá, чем она? Глупости, этого не может быть. У Мэри и папá даже почерк похож. Она сама слышала, как он говорил мамá: «Когда я смотрю в бру-

льоны¹ Мэри, мне кажется, это мои школьные тетрадки, почерк совершенно один!»

И вот она сейчас этим почерком, таким похожим на его, напишет ему... где тут бумага? Ага, под этой шкатулкой.

Что за шкатулка такая? Мэри часто бывала в этом кабинете, но никогда ее не видела. Наверное, отец забыл убрать, потому что спешил. А что там такое?

Мэри открыла шкатулку. Она оказалась вся заполнена очень забавными вещами: табакерками, перочинными ножичками, ножами для разрезания книг, маленькими изящными статуэтками, крошечными книжечками, текст в которых можно разобрать только в лупу, ну и всякими такими хорошенькими безделушками.

Мэри взяла наугад одну статуэтку, искусно выточенную из дерева. Она была величиной не более трех дюймов, но тонкость работы поражала! Изображена была нагая женщина, которая зачем-то влезла на статую мужчины. То, что это не настоящий мужчина, а именно статуя, понятно было потому, что у него не было рук и ног, а туловище его до бедер было укреплено на постаменте. Сидеть верхом на статуе, наверное, было неловко, однако женщина закрыла глаза, словно испытывала немислимое блаженство, а губы ее прижимались к губам статуи.

«Может быть, ее муж погиб на войне, а это ему памятник? – подумала Мэри. – И она ему поклоняется. Но толь-

¹ Черновик (фр.).

ко странно как-то поклоняется... Голая... на него залезла... целует...»

Она взяла большую лупу, которую папá держал в особом ящичке, и принялась рассматривать статуэтку. Высмотрела она надпись на изножье статуи: «La bergère conte fleurette avec la germa de Priap», сделанную по-французски. «Пастушка любезничает с гермой Приапа».

Герма, да, Мэри знает это слово – это такой вид статуи, голова и торс на постаменте... Как же можно с ней conte fleurette, то есть любезничать? И кто такой Приап?

Любопытство разбирало Мэри. Где-то у отца был французский энциклопедический словарь...

Она подошла к книжному шкафу, отыскала книгу, зашелестела страницами...

Оказывается, Приап – античное божество плодородия. «Изображали его с чрезмерно развитым половым членом в состоянии вечной эрекции».

Мэри нахмурилась. Какие-то непонятные слова... Непонятно также, чей он сын, не то Диониса и Афродиты, не то Афродиты и Сатира. Ну да, богиня любви вела себя очень вольно, Мэри это уже усвоила, ведь Гесиод, Овидий и Гомер были ее любимыми книгами. Раньше, конечно, женщинам жилось лучше, у них было больше свободы. Богиня – а встречалась с какими угодно мужчинами! По сравнению с богиней великая княжна – это, можно сказать, простолюдинка, а в какой строгости ее и ее сестер держат! И они знают, что

придется по воле родителей выйти за какого-нибудь принца или герцога в другую страну... Еще повезет, если это будет наследный принц. А если захолустный герцогишка? Но Мэри даже за наследного принца не хотела идти. Она вообще не хотела никуда уезжать! Перефразируя Юлия Цезаря, она могла бы сказать, что лучше быть второй в России, чем первой в Европе. Как хорошо было бы выйти замуж здесь! Если раньше русские цари выбирали себе жен из русских боярышень, то почему Мэри не может выбрать себе супруга из самых родовитых дворян? Ну вот, например, Он... Он принадлежит к старинному и знаменитому роду, Он Рюрикович в двадцатом колене, почему Он не может стать мужем царевны?

Но захочет ли Он?..

Нет, пока об этом лучше не думать. Что там насчет Приапа и пастушки?

Значит, так. Афродита родила Приапа в какой-то деревушке, но из-за его безобразия отказалась от него. Он вырос сиротой, но был изгнан из родных мест из-за величины члена.

Опять это непонятное слово!

«Приап победил говорящего осла Диониса в состязании в длине членов и убил того; пытался изнасиловать Весту, но ему помешал осел.

Постепенно Приапа начинают почитать как бога чувственных наслаждений и сладострастия. После многочис-

ленных войн, когда количество мужчин уменьшилось, стали устанавливать гермы Приапа с выдающимся вперед членом. Считалось, что если девственность девушки будет нарушена этим членом, ее брак будет плодоносным».

Мэри поставила книгу на место и снова принялась разглядывать статуэтку.

Так, если посмотреть в лупу, то видно, что девушка не просто так на статуе сидит, а именно на чем-то, что торчит между бедер Приапа...

Может, это и есть член?! А что такое эрекция?

Пришлось снова посмотреть энциклопедический словарь. «Слово *эрекция* производится от латинского корня *erigo, erectum*, что означает – поднимать, возводить, сооружать и обозначает увеличение мужского члена в длину и толщину, а также усиление его упругости».

Мэри задумчиво задвинула книгу в шкаф и принялась перебирать предметы, лежащие в шкатулке. Каждый из них изображал мужчину и женщину, прижавшихся друг к другу. Иногда мужчина лежал на женщине – например, эта пара на хорошенькой табакерке из слоновой кости, – иногда женщина сидела верхом на мужчине. Иногда они стояли, иногда сидели. И всегда они были совершенно голые. И всегда их бедра были тесно сомкнуты...

Кажется, Мэри начала понимать, в чем дело. У Приапа было непомерно большим то, что выпирает у мужчин из лосин. Ну, вообще-то Мэри видела какие-то не столь уж выра-

зительные бугорки, совершенно непонятно, как это оказывается внутри женщины и может нарушить ее девственность. Ах да, эта... как ее там... эрекция!

Мэри забыла обо всем, разглядывая содержимое шкатулки. Водя лупой по строкам, она изучала картинки в книжках, читала странные, забавные стишки, в которых повторялись незнакомые слова... неприличные, нескромные, она это чувствовала, но такие волнующие!

Вот хоть этот стишок чего стоит! Назывался он «Письмо к сестре» и принадлежал перу какого-то господина Ивана Баркова. Мэри начала читать – и у нее пересохло во рту. Одна сестра описывала другой свою брачную ночь и жизнь в супружестве:

И совсем не поняла я,
Почему бы это стало:
У супруга между ног
Словно вырос корешок.

Виктор, все меня сжимая,
Мне покоя не давал, —
Мои ноги раздвигая,
Корешок туда совал...

Мэри выронила книгу и упала на стул. Ее так и трясло. За несколько минут, проведенных за чтением нескромных стишков, она узнала нового больше, чем за все минувшие

почти четырнадцать лет.

С ее глаз словно бы сдернули пелену.

«Мне нужно как можно скорее выйти замуж, чтобы узнать все это! – подумала она решительно. – Наверное, заниматься этим просто так – неприлично? Если попросить его... согласится ли Он? Захочет ли? Наверное! Ведь Он так на меня смотрит...»

Дрожали руки, в голове мутилось. Ей хотелось... она сама не знала чего... Нет, знала: ей хотелось немедленно испытать то, о чем она только что прочла. И она с ужасом поняла, что окажись сейчас в кабинете какой-нибудь мужчина, все равно какой: или Он, или другой кавалергард, или даже лакей! – она стала бы просить их сделать с ней это... Разгоряченная кровь и жаркое желание были сейчас сильнее разума и приличий!

Мэри продолжала перебирать содержимое шкатулки. Один предмет привлек ее внимание. Это была трубка, ручка которой имела очень странную форму... какая-то толстая палка с округлой головкой... Кажется, она выточена из янтаря.

Эта вещица очаровала ее. Так приятно было ее гладить! Почти бессознательно Мэри сунула трубку в карман. Может быть, папá не заметит? Здесь так много безделушек, в этой шкатулке... Зачем папá собрал их? Ведь это неприлично!

Мэри засмеялась. Ее понятия о жизни совершенно переменились за то время, которое она провела в отцовском ка-

бинете.

Неприлично! Неприличным что-то становится лишь тогда, когда о нем узнают другие! Узнают – и начинают болтать.

Никто не должен узнать, что она была в этом кабинете. Разумеется, она не станет писать записку папá. Потом скажет ему все, что хотела. Какая разница когда? Теперь не это главное! Главное – испытать...

Но все надо хорошенько продумать. Чтобы никто не узнал. Чтобы тайное желание не стало неприличием!

Мэри поставила шкатулку так, как она стояла прежде, и шагнула к выходу. И обмерла – неподалеку хлопнула дверь, заскрежетал ключ в замке, слышались шаги.

Вернулся отец?

Нет... шаги мимо...

Выглянула осторожненько, в малую щелочку – и увидела спину удаляющегося лакея. На полу валялся ключ. Мэри выскользнула в коридор, подняла ключ.

Наверное, это лакей его потерял.

От чего ключ? От какой двери? Нет здесь никаких дверей! А если посмотреть за портьерами?

Сдвинула одну, другую – и в самом деле обнаружила небольшую дверь.

Куда она может вести? Мэри подумала. Верней всего, что на набережную, где нет дворцовой ограды. Ого! Выглянуть? И немножко погулять... никому не говоря, кто она такая. Она слышала, что ее знаменитая прабабка, императрица

Екатерина Великая, не раз позволяла себе такие прогулки. Но подойдет ли ключ к замку? Мэри вставила его в скважину... это простое движение вдруг показалось ужасно неприличным, мелькнуло в голове накрепко запавшее в память непристойное стихотворение.

Ключ легко повернулся, замок щелкнул, дверь открылась. Мэри вылетела вон – да так и замерла. Кругом снег! Утро погожее, но как холодно! Поглядела вниз – и невольно засмеялась. Мостовая вокруг дворца была замощена деревянными плитами, гладко пригнанными одна к одной. Ее это всегда забавляло – ну прямо паркет в бальной зале, а не улица. Ужасно хотелось здесь потанцевать, но разве можно было? И она не удержалась – выскочила, крутнулась на одной ноге, замерла, сделала несколько вальсовых па... ах, как холодно! И вон какой-то человек стоит, пялится на нее... Нет, надо убежать!

Мэри опрометью бросилась назад и принялась запираť дверь.

Какой там воздух, на набережной... Совсем иначе дышится, чем когда гуляешь с мадам Барановой и с пажом или выезжаешь с родителями и сестрами. От волнения Мэри даже ничего не успела рассмотреть. А тот человек узнал ее? Кто он? Вроде бы молод, в той нелепой одежде, которую носят крестьяне... Ну, это неинтересно. Был бы хоть кавалергард!

Мэри заперла дверь, стала вынимать ключ – и вдруг он со

звоном вывалился на паркет. А вдруг кто-то услышит?! Она подхватила его, сунула в тот же карман, в котором лежала трубка, – и понеслась прочь, чуть касаясь пола легкими ногами.

* * *

Гриня вошел в стольный град ранним утром, еще и светать не начало. Его била дрожь и от холода, и с голодухи, и с недосыпа: ночь провел, не доходя до рогаток, заграждавших проезжую дорогу, в летошнем стогу. Живот подвело так, что спалось плохо, да и не слишком-то поспишь в стогу февральской ночью. Лучше, конечно, у родной мамки на печке, да как быть, коли мамка давно на том свете. Гриня ее почти не помнил, а теперь помер и батюшка, его сиятельство Василий Львович Дорохов, и барыня погнала вон из дому его сына, прижитого от крестьянки, но любимого им точно так же, как был любим и законный сын, наследник графского титула, Дороховки и всех прилегающих к ней деревенок и земель. Лишь только девять дней прошло после похорон и разъехалась родня, собравшаяся на похороны Василия Львовича, графиня указала Грине на дверь:

– Вот Бог, а вот порог. Будет тебе дармоедствовать, Гринька. Пойдешь в Петербург, сыщешь там Прохора Касьянова, скажешь: велю-де я тебя пристроить на какие-нибудь работы подходней. Помнишь его? Был у нас в крепостных, пошел

вот так же на заработки, да разбогател и выкупился на волю. Я всегда говорила, зря муженек-покойник его отпустил, теперь с Касьянова ничего не возьмешь... теперь он все в свой карман складывает! – глаза ее жадно блеснули. – Ну да ладно, по старой памяти он не посмеет отказать, пристроит тебя. Станешь деньги мне присылать. Коли кичился, ты-де барский сын, так теперь помогай его семье, мачехе своей да брату своему кровному да молочному. И не спорь, не трать времени. Мое решение теперь тут – все равно что царский указ. Понял ли?

Гриня только глаза опустил. Барыня его мать родную, кормилицу своего сына, со свету сжила от ревности да ненависти, заставив ее мести заднее крыльцо в лютый мороз босиком, раздетой, якобы за непочтительность. Василия Львовича в ту пору дома не случилось – воротился, когда Настасья уже догорала в предсмертном жару неизлечимой грудницы. Поднял было на жену руку, да она поклялась, что кинется в полынью, не снеся такого оскорбления... Что было делать? Стерпел. Правда, припугивал, что коли задумает извести или хоть пальцем тронуть Гриню, пусть лучше уже сейчас идет к той полынье. Ну что ж, барыня мужа послушалась, притихла, затаила ненависть, но не из жалости или осторожности, а потому лишь, что Гриня был незаменимой нянькой для своего молочного брата, барища Петеньки, который уродился ленив, гугнив, неряшлив, неповоротлив, собой нехорош и словно бы пребывал в постоянной душевной и ум-

ственной дремоте, развеять которую мог только Гриня.

Выписали из города учителя-француза. Петенька ни за вокабулярий, ни за брульоны, ни за саблю или рапиру (Шарль Ришарович, мсье Парретоле, заодно обучал искусству пыряться железяками) браться не желал, коли не было рядом Грини, который между делом все эти премудрости освоил. Танцеванию тоже решено было учить Петеньку, чтобы впоследствии мог на балах блистать дрыгоножеством, коли не взял бы свое умишком. Где там! Медведь на ухо его как наступил, так и не сходил с него, в такт двигаться Петенька не умел, да и вообще – правую ногу от левой отличал едва-едва. А Гриня заодно сделался лихим танцором – во всяком случае, Шарль Ришарович предсказывал ему замечательное будущее и на балах, и на дуэлях.

– А уж если вы, мон анфан, сумеете в нужное время произнести несколько рифмованных строк, зазубренных наизусть, вам цены не будет... так что читайте книги, учите стихи! – приговаривал он и повторял из своего любимого Вольтера:

Souvent un peu de vérité
Se mêle au plus grossier mensonge
Cette nuit, dans l'erreur d'un songe,
Au rang des rois j'étais monté.
Je vous aimais, princesse, et j'osais vous le dire!
Les dieux à mon réveil ne m'ont pas tout ôté;
Je n'ai perdu que mon empire.

Потом Гриня нашел эти стихи в старых книжках барина – уже по-русски. Переложил на наш язык Вольтера господин Сумароков, и хотел Гриня или нет, а эти строки легли ему на душу и накрепко запали в память:

На свете с правдою мешают часто ложь;
Вчера я видел сон, который скажет то ж.
Я был влюблен в тебя, и был я на престоле,
Я смел любовь мою открыть тебе оттоле;
Проснувшись же, царем лишь быть я перестал,
А больше ничего с мечтой не потерял.

Так шло время. Учился Гриня, ходил за Петенькой, отводил глаза от ненавидящих барыниных взоров, являя собой картину покорности и послушания, а сам думал, что век же это безмятежное житье продолжаться не может... словно бы предчувствие недоброе его мучило. У них это было в семье, оттого бабка-покойница ведьмой звалась: они чуяли беды, чуяли безошибочно, и хоть не знали наверное, откуда беда придет, однако же места себе не находили, ожидая – вот-вот грянет гром!

И он грянул: барин, отец, единственный Гринин заступник на этом свете, глотнул после бани ледяного квасу – и слег, и сгорел в неделю, лежа без памяти и не успев распорядиться о Грининой судьбе. И каким был Гриня крепостным, таким и остался. А потому должен был исполнять гос-

подскую волю, если не хочет, чтоб его на конюшне запороли.

А что? Барыня мать со свету свела – и его сведет...

Петенька плакал, когда Гриня уходил. Шарль Ришарович тоже прослезился. Да что толку? Гриня ушел.

Путь его длился два дня по разъезженной февральской дороге. Шел бы дольше – подвезли какие-то добрые мужики, дай им Бог здоровья.

И вот он, Санкт-Петербург!

Вот только что, на дальних окраинах, было тихо, однако все слышнее стал шум колес. Мостовые дрожали под мерными шагами ломовых лошадей, которые тащили сани, груженные дровами, мешками, тюками. Отовсюду разносился разноголосый клич – то писклявый, то протяжный, то звонкий и отрывистый. Гриня с изумлением видел и слышал, что кричат люди, идущие пешком с корзинами или едущие на розвальнях. Не вдруг понял, что они выхваляют свой товар: кто масло, кто мясо, кто молоко. Больше всего было мужиков, которые тащили за собой малые салазки со стоящими на них бадейками или кулями и надрывали глотки:

– Сайки, сайки! Белые, крупчатые, поджаристые!

– По яблоку, по мочену, по яблоку!

– Сахарны конфекты! Коврижки голландские! Леденчики! Кто бы купил, а мы бы продали!

Ох, как подвело с голодухи Гринин живот... Краюху, в дорогу взятую, он еще с вечера подъел и все крошечки собрал с тряпички, в кою она была завернута. Денег – ни полушки,

вся надежда на то, что Прохор Нилыч Касьянов накормит да напоит, не то с голоду пропасть. Но пока еще доберешься до его дома на Гороховой! Где она, та Гороховая? Небось назвали ее так, оттого что там горох растет. Ну, летом понятно, пошел бы Гриня заросли гороха искать, а зимой ничего ведь не растет, как отыщешь? Спросить бы кого... да как решишься спросить, кажись, ни одной живой душе до него нету дела, всяк только собой занят да своим делом. А дело это – торговля. Вот вроде бы только что спал город, а теперь просыпается неудержимо, на всех углах бойко торгуют вразнос сбитнем, дичью, рыбой, книгами, столовой посудой, поношенной одеждой, которая показалась Грине такой роскошной и чистой, что он долго не мог пройти мимо лоточника, все оглядывался...

Там и сям мелькали бабы с коромыслами, на которых висело несколько жестяных или медных кувшинов с молоком. Одежда на этих бабах была такая забавная – глаз не оторвешь. На каждой кожушок нараспашку, из-под него видны широкие бело-красные сарафаны со сборками, поверх сарафанов красные фартуки с карманами, на голове платок, повязанный по-русски. На ногах – сине-красные в полоску шерстяные чулки да аккуратные чуны войлочные.

Мимо лоточников и молочниц спешили женщины с корзинками. Иные были одеты как крестьянки, иные – как бабы. Слово «рынок» донеслось до Грини, и он понял, что женщины спешат за продуктами. Небось в рынке дешевле,

чем на углах, вот и минуют голосистых лоточников!

Попадались там и сям не только торговцы, но и мастера-вые. В синих пестрядинных штанах, заправленных у кого в валенки, у кого в сапоги, в полушубках или тулупчиках, а кто и в зипунишках. Каждый перепоясан щегольски красным или синим поясом. А как же! Для мастерового человека без пояса никак, куда в случае чего инструмент сунуть?

Гриня сразу опознавал плотников по топору, заткнутому сзади за пояс, каменотесов по молотку, у штукатуров была лопата или терка. На штукатуров глядя, Гриня размечтался – вот бы к этому делу пристроиться! Когда в Дороховке чинили господский дом, Гриня сим мастерством изрядно овладел. Очень оно ему нравилось, особенно когда на высоте работаешь. Стоишь на лесенке, гладишь стеночку – и никто до тебя не доберется, и даже барынин визгливый голос не столь противным кажется, потому что знаешь: пока ты здесь, руки у нее коротки тебе тычка дать или щипнуть!

Но что проку мечтать? Теперь все от Прохора Касьянова зависит.

Гриня шел и шел наудачу, по-прежнему не решаясь узнать дорогу и лишь поглядывая на таблички, которые кое-где были прибиты на стенах домов или на воротах. Название «Гороховая улица» все не встречалось.

Он шел и дивился. Ну и улицы в столице! Иные разделены речками, через которые перекинута мостики. Иные узки, словно обуженные рукава, иные широки, раздольны! А до-

ма! Не в один, не в два этажа дома – смотреть страшно иной раз на такую высоту. Что значит – город!

Ну, с одной стороны, поглядишь – город, с другой – деревня. На тех улицах, которые реками прошиты, бабы полощут белье на особых мостках – совсем как в Дороховке!

Гриня шел, шел... Не один час он уже мерил шагами столичные улицы, ноги начали заплетаться, во рту давно спеклось все от голода и жажды. Давно надо было спросить, куда идти, но ему и боязно было к чужим обращаться – а ну как облают не по-людски?! – и отчего-то жалко было, даром что устал, прекращать это бессмысленное хождение. Сейчас он был как бы не Гриня – выблядок барский и крепостной, – а свободный человек, свободный житель этого чудного города.

Прошел Гриня под сводами огромного и просторного дома – и вдруг открылась перед ним огромная площадь. Впереди – дворец. Посреди – высоченный столп стоит, на столпе человек. Столп каменный, и человек каменный. Святой? Гриня на всякий случай осенил себя крестным знаменем и поклонился.

– Чего ты тут? – окликнул его важный голос.

Оглянулся – стоит огромный пузатый мужик в таких усах, словно весь век он только тем и занимался, что их растил. На боку сабля, на голове черная папаха, на груди к черной шинели прикреплена бляха с номером 35.

Гриня призадумался – кто такой есть этот человек? Ему приходилось видеть военных людей. Генералы, в таких годах

и постарше, щеголяли орденами и медалями. Может, у него орденов аж тридцать пять штук, всеми небось себя увешать тяжеленько, вот он и обозначил их количество на бляхе...

— Я, ваше благородие, просто... — начал было он. — Просто пришел вот в город и ищу...

Человек в черной шинели усмехнулся:

— До благородия я не дорос, да и не дорасту небось. Городовой Иван Шестаков, а зови меня просто «господин полицейский». Ты сам деревенский, что ли? На заработки пришел? Жилья и работы еще не нашел? Тогда тебе первым делом в Контору адресов, чтоб паспорт свой туда сдать, а взамен получить билет, иначе говоря, вид на жительство. А потом — на Биржу, место искать. Контора адресов — это на Театральной площади, в доме Кропоткина. Значит, так. Чтоб по набережным не обходить, отсюда пойдешь сейчас вон туда, потом по Малой Морской через Гороховую...

— Через Гороховую! — вскричал Гриня радостно. — Да ведь мне на Гороховую и надо! Меня барыня послала с поручением к купцу Касьянову... — Он завел глаза, вспоминая, где живет Касьянов: — На Гороховой он живет, близ Семеновского плаца, рядом с Загородным проспектом.

— Ну, до Семеновского плаца тебе шагать да шагать, — покачал головой городовой. — Слушай, как идти. Чтоб не запутаться, обойди вон там, — он показал рукой, — прямо на Гороховую и выйдешь. А уж по ней иди да иди, никуда не сворачивая. Прямая дорога хоть и длинней, зато верней, а то

заплутаешься в переулках.

– Спасибо, господин городской, – поклонился Гриня. – Дай Бог здоровья, век не забуду вашей доброты. Пойду я... А скажите, что это за дворец?

– Как что за дворец? – изумился городской. – Это Зимний дворец, царский, значит.

– Царский?! – У Грини даже голос сел. – Царский?! Неужто сам царь в нем живет?!

– Конечно, – усмехнулся городской. – Сам царь, его величество Николай Павлович, и все его семейство. Ну, государя сейчас во дворце нет, недавно отъехали...

– И вы видели его? – не поверил Гриня.

– А как же! – горделиво сказал городской. – Как всегда – в шубе, на шинель накинутой, в каске с плюмажем, сидят они в своих санках позади Якова... это кучера их величеств так зовут, – пояснил он. – Я, конечно, во фрунт вытянулся, а их величество мне махнули: служи, мол, бляха 35!

Гриня покачал головой, не зная, верить или не верить. Чтобы видеть царя вот так запросто... такое только в сказках бывает. Ну и ладно, не стоит обижать доброго человека и показывать свое сомнение. Очень хотелось спросить про невнятное слово «плюмаж», но он постеснялся.

– А государь далеко ли уехал? – спросил Гриня.

– Ну, чай, мне не докладывают, – посмотрел на него городской, как на глупого. – Одно знаю: они в городе, потому как штандарт царский развевается – видишь, желтое знамя с

черным двуглавым орлом? Уехали бы – штандарт бы спустили. Ну ладно, иди, брат, некогда мне тут с тобой лясы точить.

Городовой приложил руку к папахе. Гриня тоже сунул ладонь к виску, нечаянно сдвинув треух так, что тот съехал на глаза. Городовой захохотал:

– Иди-иди, Бог с тобой!

Гриня не сразу пошел той дорогой, которую указывал городовой, – сначала захотелось на дворец со стороны набережной посмотреть.

Заледенелая река открылась перед ним, на другом берегу возвышалась крепость с башней, еще какие-то строения... мосты перерезали реку, по ним шли люди, ехали повозки, но иные храбрецы шли напрямик по льду, хотя тот кое-где уже пестрел полыньями.

Гриня засмотрелся было на них, потом обернулся на государев дворец. Ох и домина!!! Сколько окон! И за каждым небось мебель из золота и серебра... и камни драгоценными горами насыпаны... Вот бы хоть глазком поглядеть на такие чудеса, увидеть государя, государыню и царевен с царевичем Александром...

Громадное здание смотрело на него сотней окон, словно сотней презрительных, немигающих глаз, мол, где тебе, деревенщина! Ишь раз мечтался о чем! Ступай со своим свиным рылом, да не в калашный ряд!

И вдруг... Вдруг распахнулась маленькая дверка в стене. Снаружи ее и не видно – не знаешь, что там дверка, так ми-

мо и пройдешь. В двери показалась тонкая фигурка. Девка! Платьице беленькое, короткое, не достает до щиколоток, из-под него тоненькие ножки торчат. Сама невысока, но не тоща... Говорили, в городе все бабы и девки тощие, заморенные, однако Грине ни одна такая не попадалась, и эта была кругленькая, ладненькая... легкая ткань платья обвила ее стан – не стан, а загляденье! Выскочила на мостовую – а та, лишь теперь заметил Гриня, вся была сложена из деревянных плит, плотно, искусно подогнанных одна к другой... Выскочила, поскользнулась, вдруг крутнулась на одной ноге, понеслась было, раскинув руки, словно в пляске, еще раз крутнулась...

Гриня и дышать перестал, глядя, как взметнулся подол платья, открыв множество нижних юбок... ноги ее в легких башмачках, чудилось, окружала кружевная пена, темно-русые кудельки дрожали вокруг румяного лица, а сверху головка была причесана гладко-гладенько, аж блестели волосы в лучах слабого зимнего солнца...

Повернулась к нему, глянула большими голубыми глазами – словно бы в душу заглянула, да еще и коснулась ее, души, словно бы прильнула к ней...

– Ох, – хрипло сказал Гриня, – ох, Боже мой...

Девчонка зябко поежилась – еще бы, в зимнюю стужу выскочила в чем была, в одной какой-то белой невесомой шалюшке на плечах! – и снова исчезла в дверце, которая закрылась – и слилась со стеной, и не скажешь, коли не знаешь,

где она...

Кто это? Кто она?!

– Царевна, не иначе, – пробормотал Гриня. – Царевна-королевна... Звездочка ясная...

Он еще долго стоял на том же месте... стоял, пялился на дверцу. Вдруг да откроется? Вдруг да снова мелькнет звездочка в белом платье, легконогая, ладная, светлоокая?

Ноги от мороза оковами взялись, только тогда он заставил себя сдвинуться с места и пойти в том направлении, которое указал городской. Но не скоро еще начал видеть дома, повороты... Гороховую проскочил-таки, пришлось возвращаться... И все перед глазами она была, она... звездочка...

* * *

– Сашенька, тебе пора жениться! – сказала сестра и встала перед ним, скрестив на груди руки.

Александр посмотрел на нее снизу вверх и засмеялся. Юная Леонилла сейчас ужас как напоминала маменьку свою, княгиню Марию Федоровну, даром что Лиля (ее так звали дома) была тонка, что хлыстик, а маменька нажила весу пудов этак шесть. Но выражение точеного смуглого лица! Но сошедшиеся на переносице соболиные брови! Но поджатые губы и эти тоненькие ручки, сложенные на совсем еще девичьей и довольно плоской (Александр признал это с огорчением брата и мужчины) груди!

– Лила, когда ты выйдешь замуж, никогда не подходи к своему супругу с таким выражением лица, – засмеялся он. – А то испугается он и сбежит от тебя...

– На Кавказ? – спросила Леонилла дрожащим голосом, и на глазах ее показались слезы.

– На Кавказ, да-с! – шутовски поклонился Александр.

– Как ты можешь шутить! – чуть ли не взвизгнула сестра. – Ты ведь глава семьи! Ты ведь...

Александр встал с кресла и вышел вон из комнаты. Надоело! Он будет делать что хочет!

Через минуту он услышал, что сестра плачет, и сначала только недовольно передернул плечами. Но потом... потом не выдержал и вернулся.

– Ну и что? – спросил он, обнимая Леониллу и целуя ее теплую голову со смоляными волосами. – Чего ты хочешь? Не хочу я жениться. Да и на ком?

– Ты можешь жениться на Мари Трубецкой, – всхлипнула сестра.

Александр крепился изо всех сил, но все же не выдержал – засмеялся.

– Она еще сущая девчонка, – ласково сказал он.

– Мы с ней ровесницы, ты прекрасно знаешь! – снова всхлипнула Леонилла. – Значит, и я девчонка?

– И ты, и ты, – кивнул брат, снова целуя белый пробор в черных волосах.

Все-таки это удивительно, подумал он, как думал очень

часто – вот они родные брат и сестра, но двух людей, менее похожих между собой, просто не найти. Она – сказочная восточная княжна с черными глазами и черными волосами, он – голубоглазый и белокурый... сущий ангел с дьявольской душой, как он любил называть себя, глядясь в зеркало. Он старше Леониллы всего на четыре года, но чувствует себя бесконечно взрослым. Небось почувствуешь, если ты уже два года как отвечаешь за жизнь всего своего семейства... правильно сказала Леонилла...

И все батюшкины чудачества!

К 1811 году князь Иван Иванович Барятинский унаследовал многочисленные имения и около 35 тысяч крепостных душ, благодаря чему стал одним из богатейших людей России. В ту пору был он персоной немалой – тайным советником, камергером и церемониймейстером двора его императорского величества Павла I, однако государственная служба его давно тяготила, потому что мешала предаться любимым занятиям. Был Иван Иванович по-европейски образованным вельможей, любителем наук, искусств, талантливым музыкантом и даже ученым-агрономом... и при этом еще и англоманом страстным. И вот теперь у него были деньги – оставалось обрести свободу.

В двадцати пяти верстах от города Рыльска, в Курской губернии, Иван Иванович выстроил величественную усадьбу, которую назвал именем жены – Марьино.

Комнат и залов в усадьбе было сто восемьдесят, и каждое из этих помещений поражало роскошью отделки, коллекциями, достойными королей, собраниями картин знаменитых итальянцев и французов, атмосферой праздничности, открытости, художественной утонченности и в то же время высокой аристократичности. Среди этой роскоши и довольства один за другим рождались дети. Были они необычайно хороши собой, и даже трудно было сказать, в кого пошли, ведь что Мария, что Иван Барятинские поражали своей внешностью. В Париже, где родился и много лет жил князь Иван, имелся даже магазин с вывеской, на которой был представлен его портрет. А назывался магазин «У русского красавца». Это семейство так и называли – «красивые Барятинские». Но отец и мать, конечно, считали самым красивым и видным своего первого сына – Александра.

Отец мечтал сделать из него финансиста или агронома и воспитывал его по заветам столь любимых им британских педагогов. Когда Александру исполнилось восемь лет, ему был подарен маленький плуг, и он с равным прилежанием учился и землю пахать, и говорить по-французски.

Спустя десять лет блаженной жизни в Марьино Иван Иванович умер. Жена его едва перенесла это... А Александр долго не мог поверить в то, что детство кончилось, ибо, по завещанию отца, он сделался официальным главой семьи. Пока он, конечно, еще оставался под опекой матери, однако, лишь исполнится ему шестнадцать, именно он станет кня-

зем Барятинским, именно в его руки перейдет все фамильное состояние, именно он станет защищать честь родового имени и решать судьбу семьи.

Когда Александру минуло четырнадцать, Мария Федоровна повезла его вместе со вторым сыном Владимиром в Москву для «усовершенствования в науках». Воспитанием обоих братьев занимался известный в то время педагог, англичанин Эванс, преподававший юношам «классиков и литературу» по все той же столь любимой их отцом «аглицкой методе».

Прошло два года. Семейство перебралось в Санкт-Петербург. Мария Федоровна решила определить старшего в университет. Но тут ее ждал сюрприз. Сын решительно отказался продолжать учебу и сообщил, что избрал для себя военную стезю. Причем он не спрашивал совета матери – он просто поставил ее в известность о своем твердом решении.

С этих пор Александр совершенно перестал кого бы то ни было слушаться, в том числе и маменьки, которую, строго говоря, он любил и почитал. Но отнюдь не ставил выше самого себя! Он считал себя действительным главою семьи, и рано и искусственно развитая фамильная гордость навсегда наложила отпечаток на отношения молодого князя и с друзьями, и с родственниками. Нет, он не задира! Он не носился, он был со всеми вежлив, прост и любезен, но не терпел фамильярности и развязности, даже обычной материнской снисходительности в обращении с собой, и, даря кого-то внима-

нием, никогда не переступал в обращении с ним ему одному известной черты. Он был уверен, что ему все дозволено, что он лучше других знает, как надо жить, каким надо быть... В июне 1831 года он был определен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением в Кавалергардский полк. И практически сразу начал проявлять совершенно необъяснимую неусидчивость, недисциплинированность, а следствие – «слабые успехи в науках». Небрежность в учении перешла и в небрежность на службе. Дисциплинарная полковая книга наполнилась записями о взысканиях за разного рода шалости. В результате за молодым князем Барятинским закрепилась слава кутилы, повесы, участника попоек и скандальных историй. Баснословное состояние отца уходило на уплату вечных карточных проигрышей. Среди его приятелей был некий Мишель Лермонтов, а еще – Александр и Сергей Трубецкие, которых он знал с детских лет. Их сестра Мари Трубецкая была подругой Леониллы Барятинской. Александр знал, что Мари по уши в него влюблена, ну и что?! Кто не был в него влюблен? Если ему не везло в картах, то в любви-то везло так, что даже смешно порой становилось. Уже в самые юные годы он в совершенстве изучил язык вееров и взглядов, сделался непревзойденным ловкачом в получении и передаче любовных записочек, стал большим знатоком секретных входов в самые имениные дома, мог преподавать мастерство проникновения в окна спален и исчезновения из дома самым невероятным об-

разом в случае внезапного явления ревнивого супруга... ни одна альковная тайна уже не была для него тайной!

И точно так же, как совершенствовался он в «науке страсти нежной, которую воспел Навон, за что страдальцем кончил он свой век печальный и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей», – точно так же ударялся он в мальчишеские проделки, которые отнюдь не соответствовали званию главы семьи.

С братьями Трубецкими наш герой теперь сделался неразлучен. Оба они были красавцы; красавицей же обещала сделаться их сестра Мари с этими своими темными глазами и пышными волосами. Правда, Александру не слишком-то нравился ее нос – он был какой-то лисий, чуточку длинноват и островат, придавал ее лицу хитроватое и даже не слишком доброе выражение, однако фигура ее поражала формами, на которые уже сейчас взиралось с удовольствием, а что будет потом, когда девушка заневестится?!

Александру было уже восемнадцать, и он, по выражению матушки, вовсе обезумел.

Ему ничего не стоило на спор прожечь собственную руку до кости – просто так, на пари. На пари же были устроены «невские похороны» – в разгар празднеств на Неве в строй нарядных суденышек врезался странный черный челн с черным гробом на борту. Вдруг гроб сорвался и затонул. Ужасу публики не было предела.

Лодочников поймали, они, конечно, не стали молчать и

выдали тех, кто их нанял. Имя Сергея Трубецкого – младшего из братьев – зазвучало по Петербургу, а вместе с ним и имя главы семейства Барятинских...

Их отправили на гауптвахту, а могли бы наказать и по-строже. Спасло обоих лишь то, что брат Сергея, Александр, служил адъютантом самой императрицы. Его черные глаза, его голос, его непревзойденное умение вальсировать очаровали Александру Федоровну. Вернейшая из жен, она так любила эти совершенно невинные, но такие волнующие отношения с красавцем кавалергардом! Этот легкий, легчайший флирт так оживлял ее жизнь! Она страшно боялась, что муж рассердится на Сергея и этот гнев падет и на Александра, а потому приложила все усилия, чтобы смягчить его, чтобы представить это просто шалостью неразумных мальчишек.

– Пора бы тебе взяться за ум, Господин Б., – сказал Александр Трубецкой, называя Барятинского прозвищем, которое ему еще в корпусе дал Мишель Лермонтов. – Ты красавец, танцор изряднейший... государыня тебя заметила. При дворе служить, при ее особе состоять – почетная должность, приятная служба. Хочешь – замолвлю за тебя словечко?

– А почему ты Сережке это не предложишь? – спросил Барятинский.

– Ну знаешь, одного Трубецкого при дворе вполне довольно, – усмехнулся его приятель. – К тому же предложение все же должно исходить не от меня...

– А оно исходит не от тебя? – вскинул брови Барятинский.

– Ну да, – кивнул Трубецкой. – Но только не возомни себе невесть что... А то твоя репутация известна...

– Да ведь мне не надоело голову на плечах носить, – погладил себя по белокурым кудрям Барятинский, прекрасно поняв намек. Конечно, государыня красавица... но лишь тишайший государь Александр Павлович мог спустить своей жене роман с кавалергардом² – брат же его, Николай, удушит собственными руками, не станет даже свою царскую власть применять!

Нет, дураком себя Барятинский никогда не считал. Слишком много женщин вокруг, чтобы тянуть руки к коронованным особам!

...Видимо, тот, кто вечно норовит сбить доброго человека с пути истинного, стоял в это время за его левым плечом – стоял, слушал и усмехался про себя...

Спустя малое время после этого разговора Барятинский был зачислен в штат императрицы и стал одним из ее адъютантов.

Ну что ж, первое время новая служба казалась ему занятой. Император был не столь студен и леденящ вблизи, каким любил казаться. Кавалергардов, которые крутились вокруг его супруги, он называл ее мотыльками. Прекрасную даму можно и нужно обожать, ей непременно следует покло-

² Об этом можно прочесть в романе Елены Арсеньевой «Тайный грех императрицы» (М.: Эксмо, 2010).

няться... при этом она должна оставаться недостижимой.

Чтобы его жена постоянно оставалась именно недостижимой, Николай Павлович не оставлял ее своим супружеским вниманием. Императрица столь часто пребывала в «ожидании», что физическая сторона любви ее совершенно не влекла. Она обожала чистый платонизм, которого в отношениях с кавалергардами было в избытке. И молодые люди четко понимали правила игры. Мотыльки порхали над этим роскошным цветком, не то что не осмеливаясь – не испытывая желания опуститься на его лепестки. Свои крылышки дороже!

Александр Трубецкой, Георгий Скарятин, Жорж Дантес с упоением играли в эту игру. А вот Барятинскому она вскоре наскучила. Что за радость быть пришитым к юбке, под которую не то что нельзя, но даже не хочется залезть?! В то время как он тут изображает из себя паркетного шаркуна, его однокашники по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров прославляют свои имена на Кавказе!

Ему вдруг показалось, что он жует однообразную преснотину, в то время как до смерти хочется острой приправы. На Кавказ! Эта мысль овладела им. Уволить себя от придворной службы он еще не просил, однако домашним уже объявил, что не нынче, так завтра это произойдет, вслед за чем он уедет на театр тех непрекращающихся военных действий, который русским непрерывно предоставлял Кавказ.

Матушка пребывала в непрерывном обмороке, лишь изредка возвращаясь к жизни, чтобы сказать Александру, что с

него начнется вымирание рода Барятинских. Сестра рыдала с утра до ночи, измышляя предлоги, которые могли бы изменить решение Александра. Начала она с того, что уйдет в монастырь, закончила тем, что предложила ему жениться, и на ком? На Мари Трубецкой, которую он принимал за сестру. И вообще – девчонка! Ну что такое четырнадцать лет?!

В самом деле, ну что такое?

Барятинский встал перед камином. Это перед сестрой он мог как угодно притворяться и высказывать пренебрежение «к девчонкам», но от себя-то мог не таиться. Была одна – ровесница его сестры и Мари Трубецкой... была одна, к которой слово это – «девчонка» – не подходило. Не подходило по всем статьям! Она и выглядела старше своих лет, и в самом деле была старше. Вот если бы...

Да, это была бы невеста... Этот брак дал бы возможность возвыситься старинному роду Барятинских так, как никакие деньги его не возвысят! И будь он проклят, если она не влюблена в него. Ее чудесные голубые глаза так выразительны, они говорят... они говорят красноречиво и откровенно. Или он ничего не понимает в женщинах, или она не стала бы противиться, если бы...

Он боялся думать дальше.

Но мысли не подчинялись приказу. Более того – вслед за мыслями являлись желания...

Ох, она и сама не понимала, что делает с ним, она ничего еще не знала ни о мужчинах, ни о жизни, но вела себя так,

словно отчетливо знает, чего хочет!

Вернее, кого. Вспомнить хотя бы тот бал... «Аладдин и волшебная лампа»!

Нет. Он же только что зарекся тянуть руки к коронованным особам! Лучше и не вспоминать... Ведь именно после этого бала он и стал всерьез задумываться – а не пора ли бежать на Кавказ?

Именно бежать...

* * *

Прохор Нилыч, купец Касьянов, оказался человеком ростом почти в сажень и с косою саженью в плечах – истинным богатырем оказался. Однако сердце он имел добрейшее. Полностью в этом сердце царила его единственная дочь Палашенька, последнее его утешение после смерти жены, которую Прохор Нилыч считал своим счастьем и самой большой жизненной удачей. Дарья Федоровна, Дашенька, дочь зажиточного мещанина, оставшаяся единственной наследницей, влюбилась в крепостного работника, помогла ему выкупиться на свободу и вышла за него замуж. С тех пор Прохор Нилыч стал другим человеком: состояние, которое принесла жена ему в приданое, приумножил, записался в купцы сначала третьей, а потом и второй гильдии, обозначив капитал сначала в восемь, а потом в двадцать тысяч рублей, спокойно платил несусветный гильдейский сбор и дело свое расши-

рял. Безвременная смерть жены – она была слаба сердцем – его подкосила, Прохор Нилыч почувствовал, что ослабел, он жаждал сыскать помощника, однако ведь не всякому приказчику доверишься как себе... Прохору Нилычу вечно чудилось, что его обкрадывают. Да ладно бы его – но ведь с кражами таяло состояние, назначавшееся в приданое любимой Палашеньке!

Он находился в расстроенных чувствах, когда появилась Палашенька и сообщила, что к ним явился какой-то незнакомый человек с поручением от прежней барыни Касьянова, графини Дороховой. Прохору Нилычу сразу показалось, что у Палашеньки какое-то странное выражение лица... от уныния, не покидавшего ее вот уже полгода после смерти матери, не осталось и следа, она была такой, какой Прохор Нилыч видел ее прежде: неизменно веселой, глаза щурились от едва сдерживаемого смеха, губы дрожали...

– Что сияешь, цветик лазоревый? – спросил он ласково, любуясь дочерью. – Видать, повеселил тебя этот посланец?

– Повеселил, да! – хихикнула Палашенька. – Я слышу, в ворота стучат, а Степаныча нету, небось в поварню пошел. – (Степанычем звали сторожа, который вечно торчал около кухарки Савельевны, мечтая сбить ее со вдовьего пути праведного.) – Я подхожу к воротам и спрашиваю: кто стучит? А он: отворите да поглядите! – И Палашенька залилась смехом.

Прохор Нилыч пожал плечами. По его мнению, ответ был не смешон, а немало дерзок, но Палашенька все хохотала,

так и сияя от непонятного отцу веселья.

– А потом что? – спросил он, то улыбаясь, то хмурясь.

– Потом я спросила, за каким делом, он и сказал. И я пошла за вами.

– Ладно, я сейчас к нему выйду, – согласился Прохор Нилыч, не без труда выбираясь из старого кресла, которое с течением лет сделалось ему несколько узковато. – Степаныч так и не появился? Этот человек за воротами ждет?

– Ну что вы, батюшка, – удивилась Палашенька, – нешто я заставлю гостя на улице топтаться? Я ему хотела калитку отворить, да не смогла, там щеколда заскорузлая какая-то, ну а он говорит, не трудитесь, мол, барышня, я и не в калитку могу войти, коли приглашаете. Раз – и перемахнул через забор! – Палашенька снова расхохоталась.

Лицо Прохора Нилыча медленно наливалось кровью, когда он тяжелыми шагами шел к двери, чтобы взглянуть на этого наглеца и вытолкать его вшаей еще прежде, чем он изложит поручение ее сиятельства. Ничего, миновали те времена, когда он дрожкой дрожал при каждом слове и приказе молодой, но такой злющей жены своего барина! Он выкупился, а значит, ничем господам более не обязан! Сами наглы, и холопы их таковы же! А что, каков поп, таков и приход!

Он вывалился на крыльцо туча тучей и с высоты десяти ступенек устремил грозный взгляд на парня, стоявшего посреди двора. И тут что-то сделалось с Прохором Нилычем, почудилось, будто кто-то взял его за сердце и сжал, пото-

му что увидел он друга своей юности, молодого графа Василия Дорохова, красавца, молодца, удальца, храбреца и рубаху-парня, имевшего душу, распахнутую для всех в мире людей, кем бы они ни были. Это женитьба убавила ему доброты, широты душевной и молодечества, а до свадьбы был он... был он таким, каких людей больше на свете нет!

– Василий, – пробормотал Прохор Нилыч, – неужто ты?!

– Меня Григорием зовут, – отозвался парень, чуть улыбаясь темными, ну в точности как у Василия, глазами. Ресницы – длинные, пушистые, ресницы Василия! – поднялись, опустились, поднялись... Родинка возле губ его, тоже точно такая же, как у Василия, дрогнула, и Прохор Нилыч услышал, как Палашенька, стоявшая за спиной, тихо ахнула.

«Ишь, нейметя», – недовольно подумал Петр Нилыч, покосившись на дочь. Палашенька дышать перестала со страху, что выдала себя.

Касьянов всмотрелся в светлые, волнистые волосы парня – у Василия были черные, – и догадался обо всем.

– Матушка твоя – Настя, кузнецова дочь, верно?

– Матушка упокоилась уж который год, а батюш... – парень запнулся, – а барин недавно, сорока дней еще не справили.

– Что за черные вести! – Прохор Нилыч перекрестился, глядя в его темные глаза, в которых словно тайна какая-то таилась, а какая – не угадаешь нипочем. – Упокой Господь их души, земля им пухом, царство небесное... Проходи. Ва-

силия Львовича сын в моем доме – гость дорогой.

– Не называйте меня так, сделайте милость, – сказал парень. – Барин меня никогда сыном не звал, получается, не считал он меня таковым, ну и я не желаю, чтобы эту честь мне навязывали.

– Ого... – пробормотал Прохор Нилыч. – Да ты гордец! Ну и как же тебя называть?

– Гриней меня зовут. Григорием Дороховым.

– А по батюшке? – с невинным видом спросил Касьянов.

– Васильевич я... – ответил Гриня – и осекся.

Прохор Нилыч засмеялся:

– Ну вот, а говоришь, барин сыном тебя не считал! Может, на словах и не считал, а в сердце своем держал. Ну что ж, кому жена – спасительница и благодать, а кому змеища и погибель, вот такая нашему Василию Львовичу и досталась. Ему бы пришибить ее своевременно, но, конечно, греха на душу он взять не пожелал... а зря, и Настасья бы небось пожила еще, и сам бы пожил, да еще и счастливо бы пожил... Не всякому так повезет, как мне повезло, – продолжал он, беря дочку за руку и выдвигая ее из-за своей спины. – Вот моя дочь, Пелагея Прохоровна, живой портрет матушки своей, незабвенной моей и горячо любимой супруги. Покойница была истинным даром Господним, данным мне в утешение, такова же и дочь его. Повезет тому, кому она достанется...

И при сих словах Прохор Нилыч зорко глянул в глаза Гри-

ни Дорохова. Лишь увидев его, он мигом смекнул, с чего так оживилась и повеселела дочь. У Василия был дар смущать женские сердца одним взглядом, видимо, сей дар унаследовал и сын его. Если бы темные, окруженные пушистыми ресницами очи Гринины сверкнули бы сейчас алчностью, Касьянов вытолкал бы его взашей, забыв старинную дружбу с его отцом, однако Гриня улыбнулся и сказал:

– Дай Бог вам, Пелагея Прохоровна, жениха доброго да богатого! – и сразу видно было, что говорит он от чистого сердца, от всей души, не тая при том никакой задней мысли.

Прохору Нилычу полегчало.

«Ничего, – быстро подумал он, – значит, бояться его нечего, можно в дом пустить и принять, а Палашеньке мы такого жениха отыщем, что лучше и не пожелаешь! Подумаешь, темноглазый... ерунда, девичье дело забывчиво!»

– Ну что ж, – сказал он, значительно подобрев, – говори, чего барыня тебе наказала?

Гриня начал рассказывать, глядя прямо в глаза Прохору Нилычу. Касьянов чувствовал, что дочь стоит за спиной и взора с прищельца не сводит, однако тот словно и не замечал ничего, говорил складно, не сбивался, очми не шнырял. Словно и не было там Палашеньки.

С одной стороны, это выдавало в нем человека серьезного и надежного. С другой – Петру Нилычу было досадно за дочку. И он снова напомнил себе, что отыщет ей жениха самого наилучшего. Вот на Духов в день в Летнем саду смотрины...

непременно надо Палашеньку туда свезти! Пускай тогда этот Гриня локотки-то пообкусает!

— Ну что ж, — проговорил Прохор Нилыч, — есть для тебя хорошее место. Ты собой пригляден, язык хорошо подвешен, а мне в лавку мою гостинодворскую приказчик до зарезу нужен. Тот, что нынче там сидит, смекаю, обдирает меня как липку, а поймать его не могу, ловок, шельма. Может, конечно, он и чист на руку, однако, коли взяло меня сомнение, веры во мне уже нет прежней, нет во мне уже прежнего спокойствия. Ты как, силен в арифметике? Учен ли чему был? Нет — так и ничего, мы тебя живо...

— Простите великодушно, Петр Нилыч, — с поклоном перебил Гриня, — арифметике я учен, однако вряд ли с этим делом справлюсь. Мне бы не в помещении сидеть, а на воздухе работать. Я штукатур изрядный, люблю эту работу. Дозвольте мне по этой части пойти. Один добрый человек сказал, что для начала нужно идти в Контору адресов, потом на Биржу...

Прохор Нилыч огорчился было, а потом подумал, что не одним днем человек жив. Это даже хорошо, что не шмыгнул Гриня ужом на тепленькое местечко. Пускай поверхолазничает, пускай собьет руки до кровавых мозолей — и пообтешется, и поумнеет, и в другой раз к доброму предложению по-доброму и отнесется. Своим опытным глазом Прохор Нилыч видел — из него получится хороший приказчик. Парень честный — это главное! А до чего пригож собой! Ни одна ба-

ба, а может, и дама, мимо не пройдет, особенно если Гриня не столбом стоять будет, а станет в лавку с прибаутками зазывать. А впрочем, нет... этот зазывать не будет. Этот просто глазищи свои поднимет, махнет ресницами – и птицы-голубицы-покупательницы стаей к нему полетят!

Бывают такие щеглы – ему и петь сладко не нужно, только посвистит, а сердца у тех, кто слушает, уже дрожкою дрожат. Вот таков же этот Гриня.

– Ну что ж, – сказал Павел Нилыч, – коли желаешь, пусть так и будет. Завтра же с утра мы с тобой и пойдем в Контору адресов. Без меня ты там пропадешь, время потеряешь, а толку не добьешься. А у меня человек там есть – добрый знакомый. Живой ногой все бумаги нам сделает. Ну а потом попытаем счастья по найму. И тут попытаюсь помочь тебе, своя рука и тут есть у меня... Приятель один есть... Исаакиевский собор начали ставить, почитай, напротив царского дворца, ну, он там на подрядах работает да в свою артель народ подряжает. Как раз вчера я его видел, он сказывал, нужен-де ему работник умелый и храбрый, чтоб на высоте трудиться не трусил. Ты высоты боишься ли?

– А чего ее бояться? – безмятежно спросил Гриня.

– Ну, коли так... – усмехнулся Прохор Нилыч. – Коли так, найдем тебе работу. А пока иди вон со Степанычем, – кивнул он на появившегося очень кстати сторожа, – он тебя в пристрой сведет, там конурка есть, тебе в ней ладно будет. Только прежде – в баню, не обессудь, у нас чисто, а ты вон

весь в себе да упарившись.

– За баню спасибо! – обрадовался Гриня. – Но жилье в доме вашем, в отдельной каморе... это уж великая честь... может, я где-нибудь в уголке, за печкою?

– Ты сын моего старинного друга, чего ж тебе, как таракану запечному, тесниться? – покачал головой Петр Нилыч. – Иди помойся, облик благолепный прими, да оглядись, обживись, а устал – так поспи. Наутро, еще затемно, в контору пойдем, не то потом там не протолкнешься, никакая рука не поможет! Давай, Палашенька, чтоб через час обед был, мне по делам ехать, а гостю – устраиваться и обживаться.

Гриня смотрел на него, не веря глазам, слушал, не веря ушам.

– Дай Бог вам здоровья, Петр Нилыч, – сказал он, сдерживая дрожь в голосе. – Смогу ли вам за ваше добро отплатить?

– Ничего, сочтемся, свои, чай, люди, – ответил Прохор Нилыч, слушая, как шелестит за его спиной юбкой поспешно убежавшая в дом дочка, как радостно звенит ее голос, отдающий распоряжения прислуге, и думая: «Черт с ним, с добром, главное, чтоб ты мне злом не отплатил! Уж больно ты пригож, чертова сила!»

И перекрестился с досадой, поймав себя на том, что аж дважды подряд помянул врага рода человеческого.



Всевозможные балы устраивали при дворе очень часто, но особенно царская семья любила маскарады и балы костюмированные, где все одевались по заранее названной теме. На сей раз бал решили назвать «Аладдин и волшебная лампа», и в нем впервые должны были участвовать две подрастающие великие княжны – Мария и Ольга.

Двор часто менял свое местопребывание. Весной семья проводила несколько дней на Елагином острове, чтобы избежать уличной пыли; затем переезжали в Царское Село, а на июль – в Петергофский Летний дворец и, наконец, из-за маневров, которые любил устраивать государь, прибывали в Гатчину или Ропшу с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже французский театр в маленьком деревянном доме. Дети видели эту блестящую жизнь, конечно, издалека: или когда сопровождали родителей, или же в свободные часы на подоконниках, слушая доносившуюся к ним музыку.

Разумеется, самые пышные и интересные балы устраивали в Петербурге. Девочки мечтали попасть хоть на один из них, но их все успокаивали – рано, мол, подрастите немного. И вот наконец-то знаменитая Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре и учившая их танцам, зачастила в их комнаты. Уроки проходили в детском зале. Там стоял игрушечный двухэтажный домик. В нем не бы-

ло крыши, чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик сестры любили больше всех остальных игрушек. Это было их царство. Олли, любившая поплакать, пряталась там, если хотела побыть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояле, а Адини, младшая, играла. Олли начала уже отдаляться от мирка игр Адини, но еще не приблизилась к миру взрослых, к которому в свои четырнадцать лет уже почти принадлежала Мэри. И она, и Адини были жизнерадостными и веселыми, Олли же – серьезной и замкнутой. От природы уступчивая, она старалась угодить каждому, часто подвергалась насмешкам и нападкам Мэри, не умея защитить себя. Ей нравилось думать, что они с Мэри – не родные сестры. Иной раз ее тешили мысли, что подкидыш в родной семье – она, иной раз – что Мэри... Однако взгляд в зеркало развеивал эти несуразные мысли: что она, что Мэри очень походили на родителей, особенно на отца.

Когда началась подготовка к балу, Олли не удавалось долго сидеть в домике – приходили кавалеры: Алексей Фредерикс, Иосиф Россетти, братья Виельгорские – друзья Саши, то есть великого князя и цесаревича Александра Николаевича, – Иосиф, Михаил и Матвей.

Подружились с Виельгорскими три года назад, когда холера, разразившаяся в столице, удерживала императорскую семью в Петергофе. Порядки здесь были не столь церемонные, как в городе. Без шляп и перчаток великие княжны гуляли по всей территории Летнего дворца, играли на своих

детских площадках, прыгали через веревку, лазали по веревочным лестницам трапеций или же через заборы. Мэри, самая неугомонная из всей компании, придумывала постоянно новые игры, в которые любили играть все, даже плаксивая Олли. По воскресеньям все обедали на молочной ферме, принадлежащей брату Саше: устраивались со всеми друзьями, которыми обзавелись в Петергофе, гофмейстерами и гувернантками за длинным столом. Порой на нем стояло до тридцати приборов! После обеда бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Это было чудесное развлечение! Но графиня Виельгорская находила такие игры предосудительными, так же как и свободное обращение с мальчиками, которым великие княжны говорили «ты». Мэри и Олли, которые редко находили общий язык, сходились в одном: обе графиню терпеть не могли. Она была женщина необыкновенно остроумная, но ее язык жалил, как укус осы. После каждого злобного замечания она облизывала губы, точно для того, чтобы спрятать самодовольную улыбку. От нее никогда не укрывалось ничего, что можно было бы не одобрить; замечания шепотом делались мадам Барановой, которая легко поддавалась ее влиянию. Потом гувернантка начинала поучать великих княжон, к их большому неудовольствию: ведь они знали, откуда ветер дует!

О вольном обращении Мэри и Олли с мальчиками было донесено императору, однако император и сам недолюбливал графиню, которая только и знала, что высматривала во

всем и во всех дурные побуждения. Он сказал: «Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных».

С тех пор общение с братьями Виельгорскими не прекращалось, причем Саша больше, чем со всеми прочими, дружил с Иосифом, а Мэри – с Матвеем. Мэри называла его «моя лучшая подруга», что немало сердило Олли, которая шуток совершенно не понимала и была уверена, что она одна должна быть лучшей подругой сестры. Это не мешало ей порой ненавидеть эту самую сестру до слез.

Перед балом все усиленно упражнялись в полонезе, гаво-те, менуэте и контрдансе. Олли любила танцевать с задумчивым Иосифом, а Мэри – с Матвеем, с которым они непрестанно хохотали. Ну а Михаил был, что называется, без царя в голове и довольно неуклюж: вечно наступал девочкам на ноги, оттого с ним никто не хотел танцевать.

После уроков бывал совместный ужин, и вместо неизменного рыбного блюда с картофелем, к которому привыкли сестры, всем давали суп, что-нибудь мясное, а еще – шоколадное сладкое.

Однажды Матвей заболел, и Мэри пришлось танцевать с Михаилом. В очередной раз выдернув ногу из-под его башмака, она сквозь слезы воскликнула:

– Ах, как же несносно танцевать с косолапыми мальчишками! Ну отчего нам не дают настоящих кавалеров, вроде князя Барятинского!

Олли встрепенулась, вспомнив его прекрасные темно-голубые глаза.

Она вообще прежде всего замечала в мужчине глаза. Ей было совершенно не важно, умен ли он, добр, красив ли, были бы хороши глаза. Раньше Олли казалось, что самые красивые глаза, которые она видела в жизни, принадлежали пятнадцатилетнему персидскому принцу, который несколько лет назад – Олли была еще совсем маленькая – посетил Петербург. Прибытие этого посольства дало повод для торжественной аудиенции высшей степени: император и императрица перед троном в Георгиевском зале, великие князья и княжны ниже их на ступеньках, полукругом сановники, двор, высшие чины армии, посреди зала – проход, образованный двумя рядами дворцовых гренадер. Двери распахнулись, вошел церемониймейстер со свитой, и наконец показался Хозрев Мирза, сын принца Аббаса Мирзы, сопровождаемый старыми бородатыми мужчинами, все в длинных одеяниях из индийского кашемира, с высокими черными бараньими шапками на головах. С обеих сторон последовали три низких поклона. Потом Хозрев прочел персидское приветствие, которое тогдашний министр иностранных дел Несельроде передал государю в русском переводе. На него император отвечал по-русски. Императрице поднесли прекрасные подарки: персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха, а также четырехрядный жем-

чуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами.

Еще несколько раз при дворе видели этого персидского принца: он завораживал дам своими чудными темными глазами, он развлекался в театрах, на балах и не знал больше четырех слов по-французски, которые он употреблял смотря по обстоятельствам: «Совершенно верно», – говорил он мужчинам и «Очень красиво», – дамам. Спустя несколько лет произошел переворот, и бедному принцу выкололи эти так всех восхищавшие глаза.

Теперь их затмили темно-голубые глаза Барятинского.

Она была уверена, что князь – самый красивый мужчина на свете! Неужели он нравится и Мэри? Интересно, а ему кто больше нравится: старшая сестра или она, Олли?

Брат усмехнулся:

– Не огорчайтесь, девочки. Если будете хорошо учиться, на Аладдиновом балу вам позволят потанцевать с матушкиными кавалергардами. А значит, и с Барятинским.

Олли захлопала в ладоши, а Мэри тихо, затаенно улыбнулась. С этого дня учителя не могли ею нахвалиться...

И вот настал день бала.

В Концертном зале поставили трон в восточном вкусе и галерею для тех, кто не танцевал. Зал декорировали тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, и от волшебной красоты этого убранства у зрителей

захватывало дух.

А в это время за кулисами разгорелся скандал. Для Мэри и Олли принесли закрытые кафтаны, шаровары, тюрбаны и остроносые туфли.

– Я не надену этого! – воскликнула Мэри. – Это наряд для евнухов, а я хочу быть одалиской султана. Хочу шаровары с разрезами, чтобы были видны ноги, и прозрачный блузон, через который будут сквозить мои груди, похожие на опрокинутые чаши!

Вечно спорившие и ссорившиеся Юлия Баранова, воспитательница Мэри, и Шарлотта Дункер, воспитательница Олли, переглянулись с одинаковым выражением на лицах.

– Евнухи! Одалиска! Во имя Господа Бога, откуда вы узнали эти слова, Мэри? – ужаснулась мадам Баранова.

– Я умею читать, а «Mille et une nuit»³ пестрит этими выражениями! – заносчиво сказала Мэри.

Дамы покраснели. Накануне бала они, конечно, прочли «La lampe magique d'Aladdin»⁴. Но там ничего такого не было... кажется, Мэри умудрилась прочесть еще многое другое, что им показалось бы неприличным... Для этой девчонки нет понятий приличного и неприличного. Такое впечатление, что ее отец рожден насаждать всюду порядок, а она – разрушать и разрушать! Как она будет жить? Куда придет со своим странным характером?!

³ «Тысяча и одна ночь» (*фр.*).

⁴ «Волшебная лампа Аладдина» (*фр.*).

Эти мысли часто посещали мадам Баранову, но сейчас, конечно, они были более чем некстати.

С трудом, в два голоса, воспитательницам удалось убедить Мэри надеть приготовленный костюм. Они уверяли, что иначе бал состоится без нее, а ведь сестрам впервые позволили участвовать в полонезе и идти сразу после родителей и старшего брата! Олли приободрилась: вдруг Мэри все же останется дома? Однако Мэри смирилась, бросила спорить, переделась – и оказалась в маскарадном костюме такой хорошенькой, что настроение ее мигом улучшилось.

А вот у Олли настроение испортилось. Без всякой радости она натянула на себя костюм. Кафтан показался ей слишком широким, шаровары сползли на туфли.

– Какая-то ты коротконогая стала, Олли! – сказала безжалостная Мэри.

Олли расплакалась. Воспитательницы торопливо подкололи шаровары и кое-как уговорили Олли выйти в общий зал, чуть ли не вытолкали ее туда.

И тут девочки мигом забыли обо всем, кроме красоты, царившей вокруг.

Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей! Какие великолепные костюмы! Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом, был гвоздем вечера. Его изображал Григорий Волконский, сын министра двора. Он отвлекал внимание даже от султана и султанши.

Николай Павлович первым повел в полонезе свою султан-

шу и императрицу. За ними шел Александр с великой княгиней Еленой Павловной, женой Михаила Павловича, брата императора.

Девочки замерли, ожидая приглашения на танец. К ним направлялись двое кавалергардов – Барятинский и Александр Трубецкой. Они были в шальварах, с саблями за широкими поясами, в шелковых длиннополых кафтанах, красиво обрисовывавших их стройные станы. Они оба были необычайно красивы, но сестры не видели Трубецкого. Для них существовал только тот, другой...

Олли зажмурилась: «Хоть бы он!» – и услышала голос Трубецкого:

– Ваше высочество, позвольте...

Открыла глаза.

Да, перед ней стоял Трубецкой. А Барятинский склонялся перед Мэри!

Какой ужас... Как это пережить?!

В эту минуту отец прошествовал мимо, и только страх перед ним, перед скандалом заставил Олли сдержать слезы.

А Мэри сияла улыбкой, которую ничто не могло сдержать! Да и надобности такой не было, тем паче что Барятинский охотно улыбался в ответ.

– А вы будете танцевать со мной весь вечер? – спросила она.

– Если не прогоните, ваше высочество, – ответил он с поклоном. Этого требовала фигура полонеза, но Мэри приятно

было думать, что Барятинский поклонился просто так.

«Склонился к ее ногам...» – пронеслась в голове вычитанная где-то фраза.

Ее кавалер опустился на одно колено, Мэри обошла во круг, близко заглядывая в его глаза, скользя взглядом по его лицу. У него был изящно вырезанный рот и яркие губы.

– А вы умеете целоваться? – спросила она неожиданно для себя, да так и вспыхнула.

Барятинский с изумлением взглянул в глаза Мэри – и вдруг страшно смутился. Почувствовал, что у него запылало лицо. Хотел что-то сказать – но не смог.

Оба сделали вид, что ни сказано, ни услышано ничего не было. Но Мэри ни на миг не отводила от него глаз, и он то и дело встречался с нею взглядом.

«Черт, задаст же она хлопот своему мужу!» – непочтительно подумал Барятинский. Таких вот быстроглазых он видел-перевидел... удивляло лишь, откуда у женщин эти умения – как посмотреть, как вздохнуть, как приоткрыть губы... кто их этому учит? Как будто по секрету передают одна другой свои заветные, тайные знания... или это по наследству переходит? Конечно, Александра Федоровна ведет себя безупречно, однако порой дает волю игре взоров, а уж бабушка Мэри, королева Луиза Прусская, по слухам, была ого-го!

Барятинский пытался отвлечься, но это мало помогало. Он сам не понимал, что с ним происходит. Следовало принять непроницаемый, невозмутимый вид, это было привыч-

но, однако в том-то и дело, что у него непривычно дрожало сердце.

Вдруг он перехватил ее взгляд, устремленный на его бедра.

Черт... резко повернулся, огляделся... слава Богу, все заняты танцем!

– Ваше высочество, умоляю... – пробормотал, ужасаясь сам себе, обезумев от стыда.

Ее взгляд был враз детским, непонимающим, и женским, бесцеремонным, даже наглым.

«Она сама не понимает, что делает», – вдруг догадался князь, но это мало помогло его умирающему самообладанию.

На его счастье, начался *la fontaine*⁵, и он смог, наконец, оказаться поодаль от Мэри – хоть ненадолго. За это время удалось овладеть собой, и Барятинский вернулся на свое место с безупречно-вежливым выражением лица.

Мэри снова заиграла было глазами, но теперь Барятинский держал взгляд точно на ее переносице и довел полонез до конца, ни разу не сбившись, и лицо его с каждым мгновением становилось все спокойней. Правда, в душе по-прежнему что-то дрожало, и он, может быть, единственный из всех с нетерпением ждал окончания бала.

Однако и после полонеза Мэри не успокоилась. Она на минутку исчезла из зала, а потом снова появилась возле Ба-

⁵ Фигура полонеза, при которой пары расходятся, полукругом огибая зал.

рятинского. Тот, вздохнувший было с облегчением, сделал приветливую улыбку:

– Что угодно вашему высочеству?

– Отойдем вон туда, к жардиньеркам, – попросила Мэри. – Предложите мне руку, князь.

Николай Павлович с улыбкой поглядел вслед дочери, которая под руку с Барятинским медленно прошла к жардиньеркам, декорированным под восточный сад. Сюда со всего дворца снесли пальмы, получился подлинный оазис.

– Наша Мэри как взрослая, – усмехнулся он.

– А Олли совсем спит, устала, – сказала Александра Федоровна, глядя, как жмурится дочь. На расстоянии было незаметно, что она еле сдерживает слезы.

– Девочкам давно пора спать, довольно они сегодня поиграли в больших, – сказал ее муж. – Где там наши воспитательницы?

– Сейчас я пошлю за ними, – улыбнулась Александра Федоровна, делая знак Трубецкому, который, как всегда, был неподалеку.

Тем временем Мэри под прикрытием пальмы повернулась к Барятинскому и сунула руку в карман шаровар.

– Вы курите, князь?

– Конечно, ваше высочество, – улыбнулся он, по-прежнему глядя в ее переносицу. Оттого улыбка вышла напряженной, но Мэри этого не заметила.

– Курите трубку или сигары? Или пахитоски?

– Сигары и трубку, – осторожно ответил Барятинский.

– Я хочу сделать вам подарок, – сказала Мэри и вынула что-то из кармана. – Это трубка. Когда будете курить ее, вспоминайте меня, хорошо? Возьмите же.

Барятинский безотчетно протянул руку – да и замер. На ладони Мэри лежала самая необыкновенная и непристойная трубка, которую он только видел в жизни. Чашка у нее была самая обычная, а мундштук был сделан в форме... ну, в форме того, что у него вдруг шевельнулось в лосинах, оживая.

– Что это... где вы?.. – забормотал он бестолково.

– Только вы никому этого не показывайте, – игриво хихикнула Мэри. – Я читала, что кавалер должен таить подарки дамы, чтобы не скомпрометировать ее. Я нашла это... в коридоре, там, – она неопределенно махнула рукой, решив не признаваться, что просто-напросто стащила трубку у отца. Хотя что такого? Папá ведь не курит!

Барятинский смотрел на трубку остановившимися глазами. Еще в курсантской школе он слышал о знаменитой эротической коллекции императора. Те, кому повезло ее видеть, описывали экспонаты с придыханием. Среди самых курьезных предметов была янтарная трубка в форме мужского оружия.

Причем трубка эта предназначалась для женщин....

Барятинского бросило в жар, но отнюдь не от возбуждения, напротив – он, слывший среди приятелей совершенно бесстрашным человеком, вдруг испытал прилив невыноси-

мого, нестерпимого ужаса.

Сумасшедшая... она сошла с ума... наверняка стащила трубку из коллекции отца!

– Ваше высочество, – пробормотал он. – Умоляю... отнесите этот предмет туда, где вы его... нашли, но только чтобы никто вас не заметил. А еще лучше – выбросьте, выбросьте! Если ваш отец узнает...

Мэри испуганно смотрела на него, пораженная этой догадливостью и тем страхом, который прозвучал в его голосе.

– Сюда идет Трубецкой, – шепнула она.

– Прячьте трубку! – прошипел Барятинский, поворачиваясь к другу и прикрывая Мэри.

У нее затряслись руки, трубка выскользнула... и упала в жардиньерку. Мэри проворно нагнулась и с силой вдавила ее в мягкую землю. Трубка исчезла.

Мэри мигом выпрямилась, незаметно стряхивая с пальца землю.

– Ваше высочество, – начал Трубецкой, – вас зовет ее величество... Как вы бледны! – воскликнул он с тревогой.

– Да, у ее высочества закружилась голова, она желает вернуться в комнаты, – сказал Барятинский.

– Позвольте проводить вас к ее величеству, – сказал Трубецкой.

Мэри хотела сказать: «Меня проводит князь», – но сочла за благо промолчать. Ей было и страшно, и стыдно, и в то же время смешно.

Барятинский испугался! Она это видела! Нет, конечно, она и сама испугалась, но только на минуточку, а он... он по-настоящему струсил! И как он догадался, что эта трубка – из кабинета отца?

«Нет, возвращать я ее не буду, – подумала Мэри. – Второй раз может не повезти, наткнушь на кого-нибудь... пусть эта трубка там так и лежит, под пальмой. Отец никогда не догадается, что это я ее стащила! А Барятинский меня не выдаст? Нет, конечно. Да и кто ему поверит? Я от всего буду отпираться!»

– Ты нездорова? – с тревогой спросила мать.

– Голова закружилась, но теперь все прошло, – улыбнулась Мэри и, против обыкновения, не стала спорить, когда ей сказали, что настало время покинуть бал и идти спать.

Она была задумчива и почти не отвечала на вопросы Юлии Барановой о бале. Олли тоже помалкивала, ревниво вспоминая, как танцевали Мэри и Барятинский, как потом отошли к восточному саду, как долго стояли под пальмой... О чем они говорили?

Мэри сейчас не слышит никого и ничего... наверное, перебирает в памяти каждое слово этого разговора! Олли даже всхлипнула от зависти.

А Мэри думала только об одном: что же изображает мундштук этой трубки?!

Ночью ей приснилось, что в кадке под пальмой выросло янтарное деревце, сплошь увешанное такими же хорошень-

кими трубками, как та, из которой оно проросло. И она так громко расхохоталась во сне, что разбудила Олли, которая от расстройства после бала никак не могла уснуть и вот только что забылась. После этого Олли опять не спала и только плакала, думая, что, конечно, это грех — так ненавидеть сестру, так ей завидовать, но что же делать, если иначе невозможно? Лишь под утро Олли смогла задремать.

* * *

— Не хочет он жениться, — с досадой сказала Леонилла своей лучшей подруге Мари Трубецкой.

Говорят, красавицы между собой дружить не умеют, однако эти две прелестные барышни относились друг к другу с удивительной нежностью и бережностью. Они были слишком разные, чтобы завидовать друг другу, и, хоть юные девы пересчитывают своих поклонников с той же тщательностью, как правоверные четки перебирают, Мари тут спокойно отступала в сторону, предоставляя Леонилле, с ее соболиными бровями, матовым лицом и черными волосами, первенствовать в сердцах сначала мальчиков, а потом и юношей. Лишь бы Александр Барятинский смотрел на нее благосклонно... лишь бы хоть как-нибудь смотрел! Каждый его поступок, даже осуждаемый другими, она встречала только с восхищением. Однако добиться от него благосклонного взгляда было не так-то легко, причем не только Мари Трубецкой.

– На мне не хочет? – уточнила она, говоря чуточку басом, чтобы скрыть дрожащие в голосе слезы.

– Ни на ком не хочет! – вздохнула Леонилла. – В том числе и на тебе. Вот не понимаю... какой-то он странный стал. Всегда был чудной, а теперь совсем бешеный. И по-прежнему на Кавказ рвется. Думаю – может, влюблен в какую-нибудь совсем уж недоступную?

Мари, еле сдерживая подступающие рыдания, покачала головой, не в силах представить женщину, которая осталась бы недоступной, если бы к ней начал подступать со своими ухаживаниями Александр Барятинский. Нет, это невозможно, немыслимо... как можно жить с этой любовью, которая терзает ее с тех пор, как она узнала Александра, друга своих братьев?!

– Ой, он приехал! – воскликнула Леонилла, прижимаясь к стеклу высокого французского окна и пытаясь увидеть то, что делается под галереей, опоясывающей здание. – Подожди меня здесь, я обещала матушку предупредить, когда Сашка вернется, она еще раз хочет с ним поговорить.

Мари уныло смотрела в окно.

«Нужно поскорей выбросить его из сердца!» – приказала она себе фразой, вычитанной в каком-то маменькином романе. Софья Андреевна Трубецкая была необычайно весела, обладала превосходным здоровьем (и передала его одиннадцати своим детям, в числе которых были такие замечательные красавцы, как Александр, «Бархат» императрицы

Александры Федоровны, и известный потаскун и шалун Сергей), за яркую красоту заслужила прозвище Прекрасная Роза, обожала танцевать на балах, но при этом обожала и чувствительные книжки. Героини ее любимых романов очень хорошо умели быть гордыми с «недостойными их» мужчинами, которые немедля начинали страдать и падали к их ногам. А некоторые и вовсе кончали жизни самоубийством!

Она так размечталась, что даже не сразу расслышала, что сзади раздались шаги и перезвон шпор.

Мари оглянулась, дрожа. Он! Что сейчас будет?

Все еще во власти своих мечтаний, она всмотрелась в руки приближающегося мужчины своих грез. Странно... у руках в него не было ни заряженного револьвера (незаряженного не было тоже), ни какого-нибудь кинжала, который он мог бы вонзить себе в сердце. То есть он явно не собирался кончать с собой. И, что характерно, шел неторопливо, не выражая совершенно никакого стремления пасть к ногам Мари.

Она на миг оторопела от такой неудачи, потом вспомнила, что у нее просто не было времени продемонстрировать Барятинскому свое равнодушие. И ему, значит, не с чего было приходить в отчаяние. Надо поскорей задрать нос... сделать ледяные глаза и повернуться к нему спиной, выдавив какое-нибудь пренебрежительное «фи».

Она старалась изо всех сил... она даже руки в кулаки сжала, ногтями впиалась в ладони от старания, но... эх, бесполезно это все было, бесполезно и бессмысленно, какое там рав-

нодушие, какое там «фи», какой там задранный нос... губы задрожали и слезы навернулись на глаза от этой невыносимой любви... ах, если бы бедная Мари знала, что любовь эта станет ее проклятием на всю жизнь, она, наверное, рыдала бы в голос и, очень может быть, даже билась бы головой об стену, а то и вообще бросилась бы наутек, но, к счастью или нет, будущее нам не открывается вот просто так, ни с того ни с сего, а потому Мари только потупилась, повесила голову, оттого ее и без того самую чуточку длинноватый носик сделался вовсе унылым, и глаза ее повлажнели.

Александр Бярятинский рассеянно взглянул на подругу своей сестры. Батюшки, что за тоска в этих прелестных глазах!

– Такие чудные глаза должны смеяться! – воскликнул он превесело, хотя сам никакого веселья не чувствовал, скорей наоборот. – А губки должны улыбаться.

Мари смотрела на него без улыбки, наоборот, глаза ее все заволокло слезами. И тут Бярятинский вспомнил, что говорила сестра: мол, эта юная красотка в него влюблена и якобы прямо помирает от любви...

Правда, умирающей Мари сейчас не выглядела. И тоски у Бярятинского ее облик совершенно не вызвал: она была высокая, с дивной фигурой, роскошными волосами, яркими, пламенными карими глазами.

«Ого!» – подумал Бярятинский, радуясь, что может отвлечься от другого лица, от другой фигуры, от голубых

глаз...

– А ну, улыбайся! – не то сердито, не то шутливо приказал он. – А то...

– А то что? – прошептала Мари.

– А то поцелую! – пригрозил Барятинский самым суровым голосом, на который был способен.

Из ее глаз немедленно выкатились две огромные слезищи. И ему ничего не оставалось делать, как прикоснуться к ее щеке.

Александр собирался только чуть-чуть поцеловать Мари – как ребенка. Но она как-то так повернулась, как-то так встала, как-то так подняла к нему лицо... В следующую минуту они уже самозабвенно целовались... та дама, с которой у него недавно началась интрижка и которая уже позволила ему довольно много, даже она не целовалась так сладостно, как эта девочка...

Он лишь на миг вспомнил голубые глаза... и с удовольствием отдался этим поцелуям, которые позволяли забыть эти незабываемые глаза.

– Я вас люблю! – прошелестели губы Мари между поцелуями. И самое удивительное, что Александр Барятинский, который давно и прочно усвоил основное правило мужчины: не верить женщинам! – самое удивительное, что он ей поверил.

Тут в комнату ворвалась Леонилла, они едва успели отскочить друг от друга, и поскольку Мари была вся в слезах,

Леонилла решила, что «гадкий Сашка» ее чем-то обидел. А это были, как пишут в чувствительных романах, обожаемых Софьей Андреевной Трубецкой, слезы счастья.

Конечно, больше никаких слов меж ними сказано не было, однако Мари не нужны были слова. Она знала теперь, что рано или поздно Александр сделает ей предложение. Но каково же было ее изумление, когда она узнала, что Барятинский уже подал прошение государю уволить его от придворной должности и вызвался поехать на Кавказ, чтобы принять участие в военных действиях против горцев. Ну да, он давно говорил о своих намерениях, но этот решительный шаг чуть не свел с ума его родных, опечалил знакомых и едва не загнал в гроб Мари. Впрочем, рыдало больше половины петербургских и окрестных барышень и дам. Князя Александра молили не рисковать собой, да тщетно: он что решил, то и должно было осуществиться. И вот в марте 1835 года, за два месяца до того дня, как ему исполнилось двадцать лет, он был по высочайшему повелению командирован в войска Кавказского корпуса на все время предстоявших в том году военных действий.

Мари все ждала: вот он что-то скажет на прощание в память о том поцелуе, который потряс ее на весь остаток жизни. Ничуть не бывало: Барятинский не то чтобы думать об этом забыл, но слишком много настоящих мужских забот на него навалилось, к тому же он не хотел брать на себя обязательства, которые не мог исполнить, не хотел связывать

ни себя, ни девочку, у которой впереди еще столько соблазнов...

Тем более что у него самого еще кружилась голова вовсе не от ее поцелуя... никто не догадывался, что на Кавказ он бежит, спасая свою жизнь, которую императорская дочь поставила под угрозу своим неумным бесстыдством...

Итак, он уехал. А предсказанные им соблазны окружили Мари буквально спустя несколько дней после его отъезда.

Она была так невыносимо грустна, так откровенно чахла, что ее брат Александр не выдержал и обратился к императрице с просьбой устроить судьбу его сестры.

Александра Федоровна счастлива была исполнить любую просьбу этого красавца брюнета, который так чудесно вальсировал!

Правда, попросил он очень немного: всего лишь предоставить его такой красивой и такой грустной сестре место фрейлины при дворе. Для начала ее посмотрели на балу, и в дневнике императрицы появилась запись: «На балу Пушкина (Натали) казалась волшебницей в своем белом с черным платье... молодая Барятинская (Леонилла) и Мария Трубецкая привлекали своими фигурами, стройными и гибкими». Александра Федоровна с удовольствием заметила, что у Прекрасной Розы Софии Трубецкой дочь если еще не роза, то очень скоро расцветет. И еще одно прелестное личико не помешает во дворце. К тому же она любила благоденствия. Трубецкие на грани полного разорения, так пусть же хотя бы

Мари переедет во дворец и получает совсем немалое фрейлинское жалованье. А если она соберется замуж, то ей обещано приданое в 12 тысяч рублей. Есть невесты и побогаче, но красивее найти трудно!

Спустя некоторое время к этим резонам в пользу Мари прибавился еще один: ревнивый Николай Павлович отправил слишком привлекательного Бархата за границу с дипломатической миссией. И Александре Федоровне было необычайно приятно смотреть в ее черные глаза и вспоминать ее брата...

Лишь только Мари исполнилось шестнадцать, она перебралась во дворец и поступила в свиту старшей дочери императора – великой княжны Марии Николаевны, которую обычно называли Мэри. Девушки были ровесницы и необыкновенно подружились. Мэри, прелестная, как цветок, с удовольствием видела рядом очаровательные лица. С братом Александром она как-то спорила, кто из ее фрейлин первая красавица.

– Конечно, Трубецкая! – не задумываясь, ответил великий князь Александр Николаевич. – Впрочем, я ее мало знаю. Надо будет почаще бывать в твоих апартаментах, рассмотреть ее получше, познакомиться поближе.

Мэри сделала большие глаза и засмеялась, предвкушая... приключение. Может быть, даже любовное приключение...

Она очень симпатизировала своей новой фрейлине. Но ни той, ни другой даже в голову не приходило, что обе они

влюблены в одного и того же человека, что они, оказывается, соперницы!

* * *

На Пасху, которая в том году прошла поздно, уже совсем близко к маю, у Большого театра, на Царицыном лугу, вдоль всей Адмиралтейской площади в одну ночь выросли балаганы – размалеванные, с дощатыми вывесками, на которых были изображены невероятные чудеса. То это были бледные люди с красными глазами и длинными белыми волосами (таких страшилищ ученые господа звали альбиносами), то ученый слон, то наездник на коне, то огромного роста девушка-прорицательница, то собачий балет, дрессированные птицы, жонглеры, фокусники, канатоходцы и многое другое. Строили также деревянные катальные горы. Совсем скоро, после Пасхи, все эти балаганчики откроются, во всякий день здесь будет толпиться народ, и в воскресенья, и в будни...

На сей раз императорская семья должна была провести Пасху в городе, и, поскольку погода была необычайно хороша, да еще и улучшалась с каждым днем, великих княжон часто возили гулять.

Олли обожала такие прогулки. Она всегда просила взять с собой мелкие деньги и охотно подавала их людям, которые устремлялись к императорской карете, лишь та останавливалась. Мэри никому не подавала. Она не была жадной, нет,

и милосердие порой стучалось в ее сердце – просто ее раздражало умильное выражение лиц тех людей, которые подступали к карете, было и жалко их, и стыдно за себя, за сестру, что они, живущие роскошной жизнью, в великолепном дворце, владычицы всей этой огромной страны и неисчислимого народа, отсчитывают медные монеты в протянутые им заскорузлые ладони... Подавали бы хоть серебряные или золотые рубли! Еще не так стыдно было бы! Но больших денег им не давали.

Чтобы совсем не раздражаться при виде умиленного, плаксивого лица Олли, она разглядывала мужчин в толпе, и сердце ее начинало стучать с перебоями.

Ничто ее так не волновало, ничто так не радовало, как мечты о мужчинах, как созерцание красивых мужчин, а их, оказывается, было много на свете! И ничто так не огорчало, как мечты о них, ибо ни с кем она не могла обняться и поцеловаться, а этого ей хотелось больше всего на свете. И еще хотелось того, о чем она прочла тогда в кабинете отца... потом описания всего этого – значительно более скромные и гораздо менее внятные, очень приличные! – попадались ей и в других книгах, и Мэри чувствовала возбуждение, смешанное с отчаянием. Она до смерти хотела все это испытать – но прекрасно понимала, что придется ждать замужества. Ни один мужчина не отважится... никто! Стоило ей бросить лишь взгляд на кого-то из друзей или знакомых, как они тотчас скисали, точно молоко в жаркий день. Один раз Мэри по

недосмотру дали такое молоко – большей гадости она в жизни не пробовала. И точно так же скис Барятинский. Можно подумать, Мэри не догадывалась, почему он сбежал на Кавказ. Просто трусил! А все почему? Потому что она не хороша и не волновала его? Ерунда, он дергался, как игрушечный паяц на веревочке! Все потому, что она императорская дочь, все они страшно боятся отца... и этот страх гораздо сильнее, чем желание, чем вожделение, чем любовь, наконец.

Они способны любить только с разрешения императора... Какая тоска!

Отчего-то нынче эти мысли нахлынули на нее сильнее, чем когда бы то ни было.

Она сидела, забившись в глубь кареты, с мрачным выражением. Томление собственного тела порой пугало ее. Ни одна из ее знакомых девушек, ни одна из фрейлин, похоже, не испытывала ничего такого, все берегли свое девичество, словно величайшую драгоценность, все твердо знали, что замуж нужно выходить невинной, иначе это страшный позор. Мэри это тоже понимала, но слишком часто невинность казалась ей чем-то вроде цепей или вериг, вот именно – суровых вериг, которые уязвляют ее душу и тело. Каких трудов ей стоило сдерживаться, никому не показывать своего телесного томления, и только ночи, ночи буйных, странных, а порою и пугающих, но освобождающих снов давали некоторое облегчение... но день приносил новые желания, которые вновь оставались неудовлетворенными.

– Олли, вы воистину любимица этих русских! – донесся льстивый голос Шарлотты Дункер. – Они благословляют вашу доброту с таким восторгом!

Олли счастливо засмеялась, а Мэри покрепче сцепила зубы, чтобы не крикнуть: «Фарисейка! Лицемерка! Ты не добрая, ты добренькая, ведь тебе это ничего не стоит!»

– Надоело мне тут, – сказала она отрывисто, – поедem хоть к Исаакиевскому собору.

– А, вечное строительство, – пробормотала Юлия Баранова, и все невольно рассмеялись.

В самом деле, сколько девочки себя помнили, Исаакиевский собор перестраивали. Вообще Петербург менялся очень быстро, за что Мэри его очень любила. Увезут детей, бывало, куда-нибудь в Гатчину – проезжают мимо болотистых лугов, на которых пасутся коровы, видят огороды и поросшие травой пустыри. А возвращаются – ах! – да на этих местах выросли дома, и не просто дома – дворцы! Однако перестройка Исаакиевского собора проходила невероятно медленно – из-за необычности и монументальности работ. В одном из временных деревянных домиков, стоявших возле строительной площадки, любопытные могли увидеть тщательно исполненную модель будущего собора. Но пока что готовы были только гранитные колонны, и возводились стены позади их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.